

УРАЛЬСКИЙ

ISSN 0134-241X

Следопыт

4 '89



450 851-6

МИР МОЙ, МИР ТВОЙ...



В начале этого года в Свердловске состоялась художественная выставка-распродажа (вырученные средства отданы детям, лишившимся родителей во время землетрясения в Армении). Организовал аукцион кооператив «Тебриз». Свои произведения представили художники Нахичеванской АССР.

Была также сразу начата подготовка к проведению «встречной» выставки — самостоятельных уральских художников. Она предназначена для Баку или Нахичевани.

Нахичевань (что означает страна узоров) — один из древнейших уголков Востока. Ей 3700 лет. Она всегда притягивала и очаровывала путешественников.

Сыновья нахичеванской земли — ученый Насиреддин Туси, архитекторы Аджамы («Момина хатун» — его творение), Юсиф Кусейр (его мавзолей украшают край уже восьмой век).

Первый театр Востока, созданный в 80-х годах прошлого века, находится в Нахичевани. Один из основоположников прикладного искусства, художник-реалист Бехруз Канчарли тоже родился и вырос здесь. Он создал строгие образы тысячелетних гор. «Нахичеванские горы, — говорил другой живописец, народный художник Азербайджана Саттар Бахлул-заде, — имеют очень строгую мужскую красоту. Каждый камень, каждая скала как бы держат свою тайну». Многих художников можно встретить в горах Ордубада, на равнинах Батабата. Величественная земля зовет их к себе.

Мы хотим познакомить вас с живописцами Нахичевани. Нашей гордостью является большая династия мастеров, выросшая на этой земле. В 1970 году создан Союз художников, в нем более двадцати мастеров.

Живопись, как и музыку, трудно пересказывать. Характерна эмоциональная, искренняя связь с землей, которую являет Нариман Алиев. Не об этом ли говорит его пейзаж «Осенний лес»? Каждая картина любого нашего художника рассказывает о внутренней красоте природы, о древней истории Нахичевана, о сегодняшнем дне. Для меня нет сомнения, мои товарищи, земляки коллективным талантом выражают мудрое отношение к родине, к природе, к человеку.

Джалил Везиров, член Союза художников СССР, заслуженный работник культуры Азербайджанской ССР.



ОСЕННИЙ ЛЕС. Нариман Алиев
ТАМИЛЛА. Исмаил Алиев
СИРАБСКИЕ ГОРЫ. Бабек Абазарли
ЛИВАН. Кадирулла Багиров
ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ. Ильхам Мирзоев

УРАЛЬСКИЙ

Следопыт



4 '89

В НОМЕРЕ:

А. Кропачев «СЧИТАЮ РОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ...»	2
И. Семенчик РЕЛИКВИЯ СЕМЬИ НЕДЗВЕЦКИХ	4
С. Гамов ЛЕНИН НА ПЕРЕДОВОЙ	5
В. Крапивин ОСТРОВА И КАПИТАНЫ. Роман. Книга третья. НАСЛЕДНИКИ. Продолжение	7

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «АЭЛИТА-89»

А. Стругацкий, Б. Стругацкий ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ. Сценарий трехсерийного фильма. Начало	25
Заочный КЛФ	47

А. Решетов НЕВЫДУМАННАЯ ПОЭМА	52
С. Казанцев ВСЕ — В КОСМОС	53
Р. Сагдеев ЛАБОРАТОРИЯ — ВСЕЛЕННАЯ	53
МИР НА ЛАДОНИ	56
М. Осоргин ВРЕМЕНА. Глава 3. МОЛОДОСТЬ. Окончание	57
Ф. Востриков СТИХИ	72
Б. Рябинин ПОСЕЛИЛСЯ АЙБОЛИТ В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ	72
В. Нестеренко ЗАВТРАК С СОББИКАШЕ	74
А. Семенин, И. Беляев ЭКЗОТЫ НА ОКНАХ. Окончание	78

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Редакционная коллегия:
Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Евгений АНАНЬЕВ,
Виктор АСТАФЬЕВ,
Виталий БУГРОВ,
Муса ГАЛИ,
Юний ГОРБУНОВ,
Герман ИВАНОВ,
Сергей КАЗАНЦЕВ
(ответственный секретарь),
Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН,
Давид ЛИВШИЦ
(заместитель главного
редактора),
Николай НИКОНОВ,
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Анатолий СЕМЕРУН,
Константин СКВОРЦОВ,
Аркадий СТРУГАЦКИЙ

Художественный редактор
Евгений ПИНАЕВ
Технический редактор
Людмила БУДРИНА
Корректор
Майя БУРАНГУЛОВА

Адрес редакции:
620219, г. Свердловск,
ГСП-353, ул. 8 Марта, 22-в
Телефоны отделов:
51-55-56 (писем,
молодежных проблем),
51-22-40 (секретариат),
51-09-71 (фантастики, прозы
и поэзии),
51-53-20 (науки и техники,
публицистики),
51-09-69 (краеведения)

Рукописи принимаются перепечатанными на машинке через 2 интервала, 60 знаков в строке, 28—30, строк на странице.

По вопросам подписки и доставки обращаться в районные отделения «Союзпечати».

Сдано в набор 06.01.89.
Подписано к печати 20.02.89.
НС 15042.
Формат бумаги 84×103¹/₁₆.
Бумага типографская № 2.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 8,82.
Уч.-изд. л. 12,2.
Усл.-кр. отт. 11,34.
Тираж 494 000.
(1-й завод: 1—250 000).
Заказ 452.
Цена 40 коп.
Типография издательства
«Уральский рабочий»,
620151, г. Свердловск,
пр. Ленина, 49.

«Апрель». Фото
Олега Капорейко



Расскажу о революционере, коммунисте ленинской школы Андрее Дмитриевиче Киселеве.

В годы военного коммунизма он осуществлял продразверстку в районах юга Пермской области. Организовал в с. Николаевске первую в седьмом продрайоне (Рябовском, ныне Чернушинском) партийную ячейку, стоял у истоков партийной организации.

Андрей Дмитриевич родился в Татарии. Крестьянская бедность с раннего детства заставила познать тяжелый труд. С 11 лет он — батрак у рыбпромышленников, а в 13 — основной кормилец семьи. И не удивительно, что подневольный труд рано возбудил у него чувство ненависти к эксплуататорам, к царскому строю.

Когда началась февральская революция, матрос Киселев вместе с командой теплохода «Петроград» вступает в Красную гвардию. Разоружает юнкеров, полицейских, освобождает из тюрем политзаключенных в Саратове. После октябрьского переворота Андрей Дмитриевич — член судебного комитета. Весной 1918 года красногвардейцы доставили в Камское пароходство национализированные купеческие суда, спасенные от затопления.

Пароходство стало Киселеву родным.

1 ноября того же года в Закамском затоне Киселева принимают в коммунистическую партию и направляют политруком батальона в Азинскую дизвизию. В боях по подавлению воткинского мятежа его тяжело контузило. После госпиталя партия направила Киселева на другой фронт — борьбы за хлеб.

Телеграммы того времени потрясают:

«15.1.18 в Харьков Антонову и Серго. Ради бога, принимайте самые революционные меры для посылки хлеба, хлеба и хлеба!!! Иначе Питер может околеть. Особые по-

ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ И ПОТОМУ ОНА МНОГОЛИКА. ПОДВЕРГАЯ СЕГОДНЯ СОМНЕНИЮ И КРИТИКЕ НЕГАТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ И ФАКТЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ, НАДО С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ ВГЛЯДЫВАТЬСЯ В СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ, ЕЕ ТВОРИВШИХ, ТЩАТЕЛЬНО ОТДЕЛЯТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ, КАЖДОМУ ОТДАВАЯ СВОЕ. В ЭТОЙ НУЖНЕЙШЕЙ РАБОТЕ, КОТОРАЯ ВО МНОГОМ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ, ВЕЛИКА РОЛЬ КРАЕВЕДА, РАСПОЛАГАЮЩЕГО ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ И САМЫМИ ДОСТОВЕРНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ.

КРАЕВЕД ИЗ РАЙЦЕНТРА ЧЕРНУШКИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ А. В. КРОПАЧЕВ СОБРАЛ БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛ ОБ ОДНОМ ИЗ СВОИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЯКОВ.

«Считаю родным человеком...»



Александр КРОПАЧЕВ

езда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно. Ради бога! Ленин».

«Петроград в небывало катастрофическом положении. Хлеба нет. Населению выдаются остатки картофельной муки и сухарей. Красная столица на краю гибели от голода. Контрреволюция поднимает голову, направляя недобровольных голодных масс против Советской власти... Неприятие мер — преступление... Пред. Совнаркома Ленин. Наркомпрод Цюрупа».

На продовольственные отряды помимо осуществления продразверстки возлагались и обязанности по политическому воспитанию населения, организации партячеек, сельских и волостных советов, обезвреживанию банд, бывших офицеров царской армии, групп белобандитов и дезертиров, борьбе с кулацкими мятежами.

Дорого обошлась продразверстка Прикамью. С 1918 по 1923 год только в Осинском уезде погибли от рук бандитов более тысячи продотрядников, партийных и советских активистов.

Осинский уезд был разделен на 10 районов, состоящих из 40 входивших в него волостей. Киселев возглавлял 14-й продотряд на территории Большой Усы (ныне Куединский район). Отряд состоял из 21 человека камских речников. 18 из них — члены партии. Вот какая работа была проведена киселевцами за три с небольшим месяца:

— зарегистрирован скот, учтен урожай, определена продразверстка;

— проведена партийная неделя с партячейками и волсполкомом, подготовлено и принято в партию 42 человека;

— осуществлен обмолот хлебов, выявлено 36 тыс. пудов скрытого хлеба;

— состоялись беседы, доклады, читки газет, спектакли в народных домах;

— обнаружены землянки, обезоружены дезертиры, конфисковано оружие;

— велась борьба с кумышковымарением;

— вывезено на станцию и погружено в вагоны 8 тыс. пудов фуража;

— проведена неделя фронта и в результате заготовлено 200 пудов хлеба, 1,5 пуда масла и 10 тысяч руб. денег. А всего за время пребывания отряда в Б-Усе хлеба заготовлено 121 300 пудов.

Это сведения из отчета комиссара Киселева на Осинской уездной конференции продотрядов.

А вот факт совсем иного порядка. По инициативе комиссара продотряда А. Д. Киселева губернское продбюро принимает решение: 70 тысяч пудов хлеба из эшелона, отправлявшегося в центр, оставить Пермской губернии. Это спасло от голода семьи красноармейцев и пострадавших от белого террора.

В уезде работала очень малочисленная партийная организация. В 1919 году было всего 306 членов партии. Губком направил Киселева в Николаевск комиссаром совхоза. Созданный на базе имения помещика Н. Сибирякова, совхоз был в ведении Камского пароходства. Андрей Дмитриевич привел в Николаевск 8 членов партии из расформированного 14-го продотряда и создал из них первую партийную ячейку, положившую начало районной партийной организации.

За короткое время пребывания в районе — с начала 1920 и по октябрь 1921 года — Киселев, кроме того, был продуполномоченным уездного продбюро, политическим комиссаром уездного комитета РКП(б), председателем выборной комиссии исполкома, всеуездным инструктором укома, председателем Рябовского волостного комитета партии...

Вскоре в районе уже действовало семь партячеек, в них 32 члена партии и 38 сочувствующих.

На губернской партконференции Андрея Дмитриевича выбирают делегатом X съезда партии. В составе делегатов съезда он участвует в подавлении Кронштадтского мятежа. А по возвращении выступает в населенных пунктах волостей с разъяснением решения съезда о введении в стране НЭПа.

Андрей Дмитриевич обладал удивительным свойством притягивать к себе людей, был взыскателен к себе и другим и лично скромен. Его соратники по работе в Рябовском волкоме — В. Н. Кайгородов, А. К. Зверев до конца жизни вспоминали Киселева как своего учителя и наставника. Под воздействием Андрея Дмитриевича они начали вовлекать молодежь в комсомол. Дело было трудное, в стране голод, разруха, бесчинствуют бандитские шайки. Часто агитаторы возвращались из деревень ни с чем. Киселев же неизменно советовал не впадать в панику, а действовать убедительно и настойчиво.

— Вы чего хотели: пришли, поговорили — и вот вам готовые комсомольцы? Нет, други мои, так не бывает. Человек берет на себя ответственность, ему, может, потребуются и жизнь отдать.

В октябре 1921 года ЦК партии направляет Андрея Дмитриевича — единственного от Осинского уезда — на учебу в коммунистический университет. После его окончания он возглавляет отдел пропаганды и агитации Череповецкого губкома. В 1925 году Андрей Дмитриевич знакомится с Сергеем Мироновичем Кировым и дважды рекомендует им на ответственные партийные посты.

С 1927 года Андрей Дмитриевич снова в аппарате Уралобкома. Возглавляет в нем отдел по работе в деревне, затем руководит Ишимским окружкомом, Златоустовским райкомом. Последние полтора года — секретарь обкома по сельскому хозяйству.

Приведу архивные выписки из доклада А. Д. Киселева о рабочем снабжении на пленуме Свердловского обкома ВКП(б), состоявшемся в ноябре 1931 года: «За последнее время мы имели некоторое ускорение товарооборота. Но этот сдвиг пока недостаточен. По целому ряду наших

торговых организаций товарные остатки не только не снижаются, но имеют тенденцию к возрастанию. Борьба в этой области нужна прежде всего по линии жесткого внедрения хозяйственного расчета во всех звеньях нашей товаропроводящей сети. До сих пор по-настоящему хозяйственный расчет в магазине, на базе, складе еще не проведен.

...Вот несколько примеров искажения советской политики цен. Возьмите торговлю овощами. При отпускной цене на картофель, которая установлена 8 коп. за кг, мы можем обнаружить в различных магазинах различные цены. В самом Свердловске в магазине «Союзплодоовощ» цена составляла 10 коп., в магазине Горпо — 19 коп. Аналогичная пестрота решительно по всем торгующим организациям. Необходимо повести решительную борьбу по линии установления правильных цен, привлечь широкую рабочую общественность...»

В августе 1933 года по рекомендации С. М. Кирова Киселев возглавляет политуправление Турксиба и на первом же пленуме, тоже по рекомендации Сергея Мироновича, избирается первым секретарем Алма-Атинского обкома партии Казахстана. Именно в то время в республике выросло число парторганизаций, казахи покончили с кочевым образом жизни, двинулось вперед колхозное строительство, в 3,5 раза увеличились вклады средств в строительство жилья.

Вот что продиктовал студентке истфака университета А. М. Касымбековой соратник Андрей Дмитриевича — бывший заведующий орготделом Алма-Атинского обкома партии Хусанбек Ахметович Амиров:

«В моей памяти Андрей Дмитриевич останется настоящим большевиком-ленинцем. Мы учились у него умению разговаривать с людьми, учились честности. Я лично считал его близким мне и родным человеком. В обком к Киселеву часто приходили коммунисты и беспартийные. Он всех принимал без промедления и по мере возможности помогал. Так же он поступал и когда выезжал в районы области. Мое счастье, что я знал его, встречался с ним, вместе работал...»

Сам Амиров был секретарем Кустанайского обкома, стал жертвой культа личности Сталина, впоследствии полностью реабилитирован.

С этими воспоминаниями мне довелось познакомиться одного ветерана войны и труда, ныне пенсионера. Когда дошли до слов об отношении Киселева к людям, я вдруг увидел слезы на глазах ветерана. Оказывается, ему на очень большой личный запрос современный исполкомовский бюрократ назначил встречу через 14 дней!

Трагически закончилась жизнь Андрея Дмитриевича.

Без каких-либо конкретных причин его снимают с должности секретаря обкома, переводят в симферопольский горком, а затем сразу же — начальником ГИЗа Крымской области. 18 марта 1938 года Андрей Дмитриевич приехал в Крымский обком на утверждение, и ночью в номере гостиницы был арестован. Та же участь ожидала и его жену Анну Николаевну. Обоих поместили в алма-атинскую тюрьму. О том, что пришлось пережить здесь Киселеву, рассказала его дочь. Однажды товарищи мужа передали в камеру Анне Николаевне записку, в которой сообщалось, что с одного из допросов Андрея Дмитриевича принесли в камеру на носилках.

Через год, 28 февраля 1939 года коммунист-ленинец А. Д. Киселев был расстрелян вместе с большой группой репрессированных. Где-то в окрестностях Алма-Аты находится эта братская могила.

Можно прожить на свете сто лет и не оставить следа. Андрей Дмитриевич прожил 43 и весь жар своего сердца отдал борьбе за свободу, за счастье людей.

На снимке: В. И. Ленин в группе делегатов X съезда РКП(б) — участников подавления Кронштадтского мятежа. Справа от Ворошилова (в фуражке) — А. Д. Киселев.



Реликвия семьи

Игорь СЕМЕНЧИК,
преподаватель техникума

НЕДЗВЕЦКИХ

Копия этой фотографии, не публиковавшейся более 60 лет, бережно хранится в семье свердловчанина В. Ф. Недзвецкого. На ней запечатлены два дорогих для него человека: Владимир Ильич Ленин и отец Федор Трофимович Недзвецкий, в 1922—1924 годах председатель Моссовета, а до рокового в его жизни 1937 года — заведующий Московским областным отделом коммунального хозяйства.

Во время празднования 100-летия со дня рождения В. И. Ленина Владилен Федорович с женой Марией Ильиничной гостил у сестры в подмосковном городе Жуковском. Побывали и в столичном музее В. И. Ленина. В траурной комнате увидели фотографию с подписью «Делегаты в Горках». В группе людей у гроба В. И. Ленина Владилен Федорович узнал своего отца.

Потом он получил от сестры копию фотографии и убедился: среди делегатов II съезда Советов РСФСР у гроба В. И. Ленина в Горках между стариком с седой бородой и кавказцем-карачаевцем в национальной

одежде стоит его отец Федор Трофимович Недзвецкий.

В книге «У великой могилы», изданной газетой «Красная звезда» в апреле 1924 года, напечатан список членов Почетного караула у гроба во время перенесения тела В. И. Ленина из Горок на станцию. В числе пятнадцати человек значится и Ф. Т. Недзвецкий, делегат съезда от Царицынской губернии.

Работа съезда тогда была прервана. Вечером 22 января делегаты прибыли на станцию Герасимово, откуда на крестьянских подводах добрались до Горок. Их встретили нарком здравоохранения Н. А. Семашко и Н. К. Крупская. Расспросили, не устали ли, сыты ли. Прошли в зал, где покоился Ленин. «Подавленные тяжелым горем, в слезах, мы стали у его изголовья», — вспоминала А. В. Артюнина (на снимке она рядом с Н. К. Крупской и крестьянкой в белом платке) — председатель объединенного фабкома фабрик «Пролетарка» и «Вакжановка» города Твери.

Вглядимся внимательно в снимок.

Мы увидим знакомые лица представителей Ленинской гвардии: Г. М. Кржижановский, товарищ Ленина по петербургскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса» и ссылке, А. И. Елизарова-Ульянова, старшая сестра Владимира Ильича, тогда сотрудник Истпарга, П. Н. Лепешинский, член коллегии Наркомпроса РСФСР, А. В. Луначарский, нарком просвещения...

Владилен Федорович Недзвецкий (иня родители ему дали в честь В. И. Ленина) окончил специнтернат на Урале, потом Троицкое училище механизации сельского хозяйства. В декабре 1943 года ушел на фронт. Механик по вооружению 340-го отдельного бомбардировочного полка авиации дальнего действия, старший сержант Недзвецкий закончил войну на Дальнем Востоке.

В послевоенные годы начальник цеха машиностроительного завода В. Ф. Недзвецкий к своим боевым регалиям прибавил награды за мирный труд. И среди них — орден Ленина.

г. Свердловск





*А. Добротин в роли В. И. Ленина.
А. Добротин в жизни.
Снимки 40-х годов.*

ЛЕНИН на передовой

Сергей ГАМОВ
актер Свердловского театра
юного зрителя
им. Ленинского комсомола

Гудела земля и рвался воздух. Фронтовые артисты провожали в бой своих зрителей. Вдруг один боец выскочил из шеренги, взволнованно спросил:

— Владимир Ильич, одолим мы фрицев?!

Человек, к которому обращался парнишка, растерялся на секунду, потом, сощурившись, внимательно взгляделся в лицо солдата.

— Одолим!

Боец улыбнулся, подмигнув стоявшей рядом артистке, увидел

в ее руке газету, легонько рванул уголок:

— На сигарку, сестричка.— И скрылся в строю.

Спустя сорок с лишним лет эту пожелтевшую от времени «Фронтовую правду» от 2 апреля 1942 года с оторванным уголком держала в руках старейшая актриса нашего театра заслуженная артистка РСФСР Н. Н. Лаженцева и рассказывала эту историю. Над обрывком сохранился заголовок — «Свердловские артисты на фронте». Саму

заметку о выступлениях театральной бригады с Урала Нина Николаевна так и не успела тогда прочитать. Чуть позже, когда из Москвы, из отдела газет библиотеки имени В. И. Ленина пришла фотокопия статьи, мы прочитали ее вместе. Старший политрук М. Кузнецов писал:

«Бригада Нижнетагильского драматического театра в составе артистов Арбениной, Лаженцевой, Муковозова, Добротина показала бойцам и командирам монтаж пьесы Погодина «Человек с ру-

жем». Появление на сцене артиста А. Добротина, исполняющего роль Владимира Ильича Ленина, вызвало у фронтовиков бурную овацию.

С особым подъемом встречались бессмертные слова В. И. Ленина, обращенные к Красной Армии: «Красная Армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко его поражение».

Меня заинтересовала судьба артиста, игравшего роль Ленина на фронте, и я стал разыскивать А. А. Добротина. Вскоре пришло письмо из Минска, где последние годы жил Александр Александрович: «...Выражаю Вам и Нине Николаевне Лаженцевой свою благодарность за воспоминания. Они воскресили в моей памяти те незабываемые дни фронтовой жизни. Посылаю Вам фото — в роли В. И. Ленина и свою в жизни, каким был в те годы...»

Творческую биографию А. Добротин начал совсем мальчишкой — в шестнадцать лет, на сцене прославленного ярославского театра имени Ф. Волкова. В двадцатые — тридцатые годы успешно работал в ленинградских коллективах — Красном театре, театре сатиры, в филиале Большого драматического театра им. М. Горького. Правда, был в актерской биографии Добротина перерыв: в 1930 году, к тому времени ему было двадцать шесть лет, он едет добровольцем в деревню организовывать колхозы, наяву проживает судьбу шолоховского Давыдова... Получает ранение. Поправившись, снова возвращается в театр, работает в разных городах, а перед войной приезжает в Нижний Тагил.

С первых дней Великой Отечественной по всей стране стали создаваться фронтовые концертные бригады. Такую бригаду организовал и Свердловский Дом офицеров. С. П. Волков, муж Н. Н. Лаженцевой, актер и директор Нижнетагильского драматического театра, с группой коллег-актеров приехал в Свердловск. Решено было вместе с А. А. Добротиным, исполнителем роли Ленина в последней пре-

мьере сезона перед войной — спектакле по пьесе Н. Погодина «Человек с ружьем», сделать монтаж пьесы и включить его в программу. На Урал эвакуированы многие театральные и концертные коллективы, поэтому не сложно собрать хорошую, разнообразную по жанрам программу, но особое значение придавалось сценам из спектакля.

Первый маршрут бригады — Волховский фронт, Ленинградское направление.

— Обслуживали в основном бойцов, отправляющихся на передовую, — рассказывала Н. Н. Лаженцева, — играли где придется: на машине в лесу, на случайных площадках, в полуразрушенных, битком набитых солдатами маленьких клубах и даже в сарае с коптилкой. Я исполняла роль сестры Шадрина, которого играл С. П. Волков, и вела монтаж. Я объявляла: «Кабинет Владимира Ильича Ленина». Тишина. Выходил Добротин в гриме и костюме Владимира Ильича. Следует сказать, что и в жизни, а тем более на сцене у артиста было удивительное сходство с внешним обликом вождя. Он выходит. Пауза. И вдруг — оглушительный гром оваций. Солдаты, стоя, долго аплодировали, затем тихо садились. И так каждый раз начиналось наше выступление.

Недавно вдова А. А. Добротина, Елена Ивановна Серова, в одном из писем прислала мне копии документов, отзывов из Действующей армии.

«Многие из нас никогда не видели Ленина ни в театре, ни в кино. Какой это праздник для нас сейчас! С завтрашнего дня клянусь уничтожать вдвое больше поганых фрицев! Боец Васильев».

«Товарищи актеры, после первого же вашего спектакля «Человек с ружьем» бойцы Н-ской части убили 34 фрица, и в этом несомненно также и ваша заслуга. Бойцы приходили ко мне с горящими глазами и говорили, что они видели живого В. И. Ленина. Полковой комиссар т. Заславский».

«Родные наши товарищи актеры! Вы пришли к нам в окопы и показали, за что боролись наши отцы в дни завоевания власти народом, показали образ Владимира Ильича. Боец никогда

этого не забудет. Слова Ленина «Ни шагу назад!» мы будем хранить в наших сердцах как святыню. Командир подразделения т. Огородник».

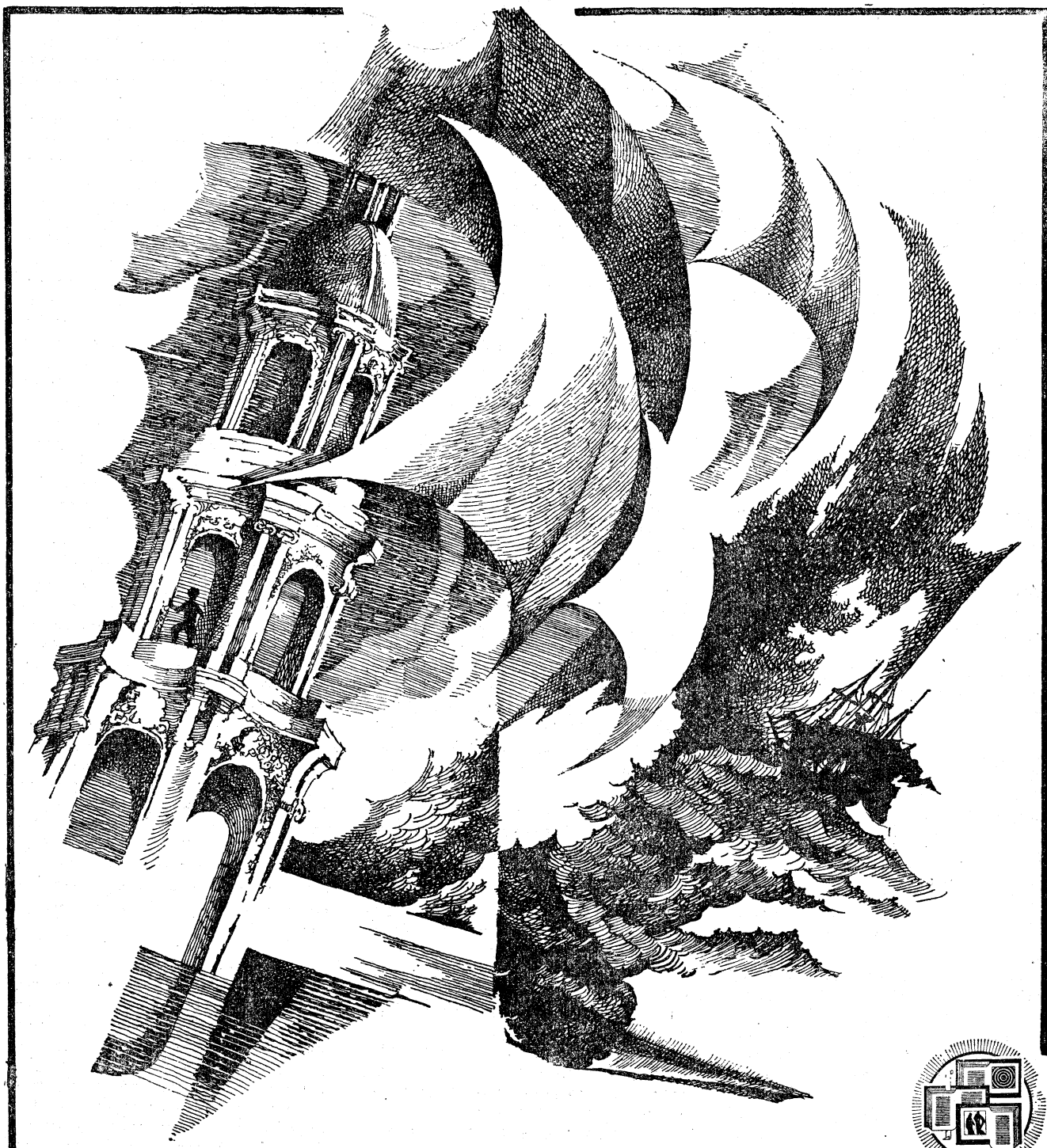
«Большая заслуга артиста Добротина состоит в том, что в течение года, несмотря на трудности фронтовой жизни, зачастую под разрывами вражеских мин и снарядов, в землянке воспроизвел правильный образ великого Ленина. Майор Хлебни».

С образом Ленина артист побывал на передовых позициях не только Волховского, но и Воронежского, Карельского фронтов. Давали по несколько концертов в день. Александр Александрович так и переезжал из одной части в другую, сутками не снимая ни грима, ни костюма Ильича.

В канун тридцатилетия Победы А. А. Добротин получил поздравительное письмо от Маршала Советского Союза Гречко, тогда министра обороны, в котором говорилось: «В годы суровых военных испытаний Вы находились в рядах активных защитников нашей Родины. Ваши заслуги в Великой Отечественной войне будут вечно в памяти нашего народа».

Роль Ленина Добротин играл и после войны, не только в «Человеке с ружьем», но и в «Кремлевских курантах», в «Третьей патетической», в «Незабываемом девятнадцатом», в «Шестом июля». И всякий раз, будь это во Владивостоке или Минске, его работа становилась событием в театральной жизни города, республики.

...Когда говорят о Ленине в театре и кино прошлых лет, прежде всего называют прославленных мастеров нашей страны — Бориса Щукина, Максима Штрауха, Бориса Смирнова. Думается, что в эту строку по праву может быть вписано и имя заслуженного деятеля искусств РСФСР, артиста, режиссера, педагога Александра Добротина.



ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

ОСТРОВА И КАПИТАНЫ

РОМАН В ТРЕХ КНИГАХ

НАСЛЕДНИКИ

(Путь в архипелаге)

Рис. Евгении Стерлиговой

Часть вторая

Порог

Глаз тайфуна

«Немало пороку потрачено было на торжественные салюты по поводу примирения его превосходительства Николая Петровича Резанова с Крузенштерном и его офицерами. Палили в честь посланника, палили в честь моряков и, конечно же, в честь губернатора Камчатки генерала Кошелева, положившего много сил, чтобы восстановить мир и чтобы славные дела — кругосветное плавание россиян и посольство их в Японию — не были неразумно прерваны из-за столкновения человеческих натур.

Палили радостно орудия «Надежды», отвечала им с берега Камчатская крепость.

Немало часов ушло и на веселые застолья в честь того, что прежние раздоры обещано со всех сторон предать забвению. Хлопали пробки, произносились тосты во здравие государя императора, во здравие всех присутствующих и за благополучное окончание всех предприятий и плавания. И опять гулким ревом откликнулись на верхней палубе пушки. Подпрыгивала и звенела на широком столе кают-компания посуда...

Однако чем приветливее были улыбки Резанова, тем сильнее чувствовали офицеры внутреннюю натянутость. Зная характер посланника и помня прежнюю взаимную вражду, могли они разве поверить, что его превосходительство изгнал из души всякую обиду и отныне будет помышлять единственно о пользе общего дела?

Лишь второй лейтенант «Надежды» Петр Иванович Головачев вначале принял наступившую развязку за искреннее примирение. К такому решению пришел он, видимо, по молодости да еще по горячему желанию общего душевного благополучия и добрых отношений. Однако и Головачев скоро убедился в ошибке. Случилось это, когда его превосходительство, улыбаясь, поднимался по трапу с баркаса, а капитан-лейтенант Ратманов сказал вполголоса товарищам:

— Попомните, господа, эта птица еще снесет нам тухлое яичко...

Мрачное свое предсказание Макар Иванович вспомнил через три недели, когда уже далеко осталась Камчатка и корабль приближался к берегам таинственной Японии.

В то утро, 27 сентября по новому стилю (коим всегда пользовался Крузенштерн в путевом журнале),

Продолжение. Начало в № 11 — 1988 г.

команда, офицеры и пассажиры построились на шканцах. Ибо число это было днем высочайшей коронации его императорского величества. Славную дату следовало отмечать торжественным молебном, но священника на корабле не было, и посланник устроил церемонию по своему разумению. Ознаменовал радостный для всех подданных Российской империи день раздачей наград. Был вынесен поднос с горкой серебряных медалей и для торжественности крытый шелковой златотканой парчой. Она сняла при нежарком солнце, проглянувшем сквозь облака после многих бурных и пасмурных дней.

Ставши перед строем и покачиваясь на тонких, в новые ботфорты обутых ногах, его превосходительство сказал речь:

— Россияне! Обошел вселенную, видим мы себя наконец в водах Японских. Любовь к отечеству, искусство, мужество, презрение опасностей, повиновение начальству, взаимное уважение, кротость — вот черты, изображающие российских мореходцев. Вот добродетели, всем россиянам вообще свойственные...

Офицеры прикусили губы. После всего, что было, слова о взаимном уважении, повиновении начальству и кротости звучали, мягко выражаясь, забавно. Даже у некоторых матросов, и прежде всего у «не по чину грамотного» Курганова, под маской благолепного внимания мелькнуло нечто малосоответствующее моменту.

«Зачем он так?» — с досадой подумал о Резанове лейтенант Головачев. В самом деле, для чего Николай Петрович, умевший в долгих, радующих душу и ум беседах находить ясные слова, сейчас говорит казенные витиеватые фразы, половину которых матросы не понимают, а другую половину не берут всерьез? Или не о смысле думает посланник, а только о единой задаче: показать всем, кто ныне истинный начальник над экспедицией? Но достойно ли это столь просвещенного и доброго человека?

Резанов же вдохновлялся все более. Поднявши в пальцах похожую на новый полтинник медаль, он вещал:

— Зрите здесь изображение великого государя, примите в нем мзду ващу и украсьтесь сим отличием, денными беспредельными трудами и усердием приобретаемым...

Медали были розданы всем рядовым и унтер-офицерским чинам. Числом шестьдесят три. Квартирмейстер Иван Курганов, хотя и настроен был к его превосходительству с некоторой насмешкою, к награде отнесся серьезно. Аккуратно прицепил медаль к зеленому сукну мундира. Сказал товарищам:

— А как же не носить-то? Или не заслужили мы? Полземли обошли, матушки-России больше года не видим... И соленого похлебали. Не то что иные, которые только с берега на корабль, а им уже медаль на пузо.

Он говорил это, косо поглядывая на солдат Камчатского гарнизона. Восемь рослых гренадеров под командою поручика Кошелева, брата губернатора, взял с собой в Японию посланник Резанов. Вроде бы как почетная стража при посольстве, а на самом деле, видно, для пушей своей безопасности: мало ли как сложатся отношения с господами морскими офицерами...

— Они люди казенные,— сказал добродушный десятник Гледианов.— Приказали — поплыли. Награду дали — «Рады стараться!»

— А к тому же будет еще у них всякое,— рассудил бомбардир Никита Жегалин.— Да и мы не ведаем всего, что впереди. Слыхали небось как вчера их благородие Фаддей Фаддеич рассказывали, что в здешних водах бури случаются небывалые. На китайском языке называется «тифон».

— Авось пронесет,— глянув на спокойное небо, заметил Курганов.— До японской гавани Нангазаки, говорят, недалече.

Жегалин возразил:

— Якорь не положивши, молебен не твори.

...Ту же мысль высказал и Макар Иванович, когда офицеры шли к праздничному столу. Корабль, покачиваясь на пологой зыби, тихо скользил под теплым ветром, погода в отличие от прежних дней стояла самая приятная, но Ратманов настроен был мрачно. Пообещал лейтенантам Ромбергу и Беллингаузену:

— Накаркает он нам беду. Виданое ли дело: похваляться, не придя в гавань. «Обошед вселенную!.. Видим себя в водах Японских!» Этих вод мы еще хлебнем, попомните мои слова...

Лейтенанты кивали. Оно и правда, только сухопутный человек может искушать судьбу и, нарушая давние обычаи морские, хвалить свое плавание, не достигнув берега....

Наклонов читал громко, выразительно. Уверенная борода его при этом шевелилась, очки от энергичного движения бровей шевелились тоже. Наклонов одной рукой удерживал близко от очков листы, а другую, приподнявши сбоку свитер, сунул в брючный карман. Порой он, не отрывая глаз от строчек, прохаживался у стола, и его животик упруго колыхался под свитером.

Иногда же Олег Валентинович на миг опускал листы и взглядывал на слушателей — вопросительно, однако без робости. Скорее испытующе: постигают ли школьники прочитанное?

Они постигали. По крайней мере, сидели тихо. Тем более что никто их сюда не загонял, это было вполне добровольное собрание литературного клуба «Факел».

Объявление об этом новом клубе и о том, что занятия будет вести писатель Наклонов О. В., появилось в школьном вестибюле неделю назад. Егор как раз читал его и размышлял, когда рядом остановился Венька.

Отношения у Редактора и Егора Петрова были теперь странные. Оба коротко говорили при встречах «привет», иногда обменивались лаконичными, по делу, вопросами и репликами и порой ловили на себе быстрые, как бы исподтишка брошенные взгляды друг друга. Словно каждый приглядывался к другому и чего-то ждал. А чего?.. Смешно даже...

Тем не менее сейчас Венька встал сбоку от Егора, прочитал афишу и вполне безразлично спросил:

— Пойдешь?

— Подумаю...— Егор в самом деле подумал и решился на длинную фразу: — Пожалуй... Он небось опять про Крузенштерна читать будет, а у меня к этой истории свой интерес.

Егору показалось, что Венька спросит: «Какой?» И можно будет сказать: «Одна давняя история, с братом связанная... Кстати, помнишь юнгу на корабле в кино? Это он и есть. А корабль по правде называется не «Фелицата», а «Крузенштерн»...»

В тот раз, после фильма, они разошлись, коротко сказав друг другу «пока». Егор не решился спросить, как Венька отнесся к «Кораблям в Лиссе», а сам Ямщиков тоже промолчал. Торопился с братишкой домой. Ну, а на другой день тем более — какой разговор? Отдал Егор двадцать копеек за билет — и дело с концом... А если честно признаться, поговорить хотелось.

Может, сейчас?

Но Венька нерешительно промолчал. И тогда задал вопрос Егор. Коротко, небрежно:

— А ты? Пойдешь?

— Не получится. У Ванюшки в классе репетиция, они в каникулы пьесу ставят, отрывки из сказок Пушкина. Про работника Балду и про Золотую рыбку. Я им помочь обещал.

— Ничего у них не выйдет,— сказал Егор.— Стакой ведьмой, как их горластая Настя, кашу не сваришь.

— У них шеф появился. Студентка из пединститута, вроде вожатой, с ней можно... А та, конечно, ведьма.— Венька вдруг заговорил глухо и жестко: — В сентябре Ваньку носом в тетрадь как ткнет: «Смотри внимательно!» У того и побежало — вся тетрадка в крови. Конечно, у него нос слабый, но зачем тыкать-то! Я тогда к Клавдии Геннадьевне ходил, крику было... Сперва, конечно, вышло, что Ванька сам виноват, да и я заодно... Ну, потом и ведьме попало. Она меня теперь не выносит, но вида не подает. Наоборот, улыбается...

Венька закончил такую длинную речь неожиданно. Словно спохватился: чего это, мол, меня понесло? Неловко сказал:

— Пойду я, домой пора...

А Егор еще постоял у афиши. И решил окончательно, что на заседании клуба надо побывать.

Он испытывал интерес не столько к истории Крузенштерна, сколько к самому Наклонову. Наклонов знал отца. Того, Толика... Даже приятелями были, хотя и подрались потом. И в любопытстве Егора было желание проникнуть в те давние времена. В тот заросший сад с разломанной эстрадой. Проникнуть и что-то понять...

Люди из разных классов собрались в «гостиной» — квадратной комнате с двумя рядами узких диванчиков, поставленных полукругом, с уютными шторами и плафонами. Гостиная была гордостью директора. Не каждая школа может позволить себе такую роскошь — комнату для клубных собраний.

На одном конце составленной из диванчиков дуги, у самой двери, примостился незнакомый парнишка. По виду класса из восьмого, но явно не здешний. Стеснительный. У него была стрижка в «кружок»,

по-казацки, и спрятанные в тени глаза. Темные и какие-то виновато-настороженные. Краем уха Егор услышал, что это сын Наклонова. Тогда понятно, почему такой скованный: неловко среди чужих, да и за отца, наверно, переживает... Хотя чего переживать-то? Читает Наклонов бойко, и все слушают как надо.

«Сумрачное пророчество Макара Ивановича Ратманова стало исполняться на следующий день... С утра, правда, ветер, гуляя от зюйд-оста к зюйд-весту, оставался легким, хотя погода установилась мрачная. В десять часов утра случилась даже радость — увидели наконец берег Японии, а в полдень определили до него расстояние. Мыс, выступающий впереди гористого берега, был, по всей вероятности, Иза-саки, юго-восточная точка острова Шикоку. «Надежда» находилась от него примерно в тридцати шести милях. Крузенштерн приказал держать к берегу, но вечером до мыса оставалось еще не менее двадцати миль, и тут, в восемь часов пополудни, грянули крепкие шквалы с дождем...

На следующий день шторм то стихал, то разыгрывался, иногда тучи разбегались, но чаще было мрачно и хлестали дожди. Едва позволяла погода, Крузенштерн приказывал держать ближе к берегу, но ветер взъяривался опять и приходилось отворачивать от опасной суши. Все карты были неточны. Даже известный морякам Ван-Дименов пролив, коим следовало идти в Нагасаки, нанесен был на них приблизительно.

То приближаясь к берегам, то отходя от них, «Надежда» спускалась к зюйду. В ночь на первое октября шторм утих. Пошел ровный ветер с зюйд-оста, на рассвете разошлись тучи. И опять «Надежда» побежала к западу, курсом бакштаг левого галса, когда ветер дует с левого борта и с кормы.

Радость, однако, была недолгой. Макар Иванович сказал:

— Иван Федорович, барометр катится вниз, как пьяный мужик с печи...

Крузенштерн и сам видел, как скользит вниз ртутный столбик — давление падало. Солнце светило сквозь желтую дымку. Под солнцем темной гористой кромкой виднелся остров Кю-Сю, или Киу-Шну. Жалея уже, что рискнул подойти к суше столь близко, Иван Федорович скомандовал:

— Круче к ветру! Держать на зюйд по компасу!

Корабль пошел носом к волне, заскрипели бейфуты поворачиваемых реев. Теперь ветер дул в левую скулу судна, сбоку и навстречу — курс бейдевинд. Идти таким курсом паруснику тяжело. К тому же и могучие встречные волны мешали корабельному ходу. Ветер, однако, был еще ровный, потому поставили все нижние паруса, а над ними — марсели. Брамсели поставить было нельзя, потому что еще в начале прежних штормов брам-реи были сняты и закреплены на палубе.

В полдень с зюйд-оста пошли темные клочковатые облака, скрыли солнце. Волны стали гороподобными. Все говорило, что с юго-востока надвигается буря. Но справа и сзади все еще виден был в мрачноющем воздухе берег, и Крузенштерн выгадывал минуты, не давая приказа убрать паруса.

Буря оказалась хитрее. В час пополудни грянула она с неожиданной мощью. «Надежду» положило на правый борт. Новые, недавно замененные на парусах и реях шкоты и брасы полопались один за дру-

гим. Освободившаяся от давления ветра парусина отчаянно захлопала в ревущих потоках шквала.

— Ребята! — закричал Крузенштерн с юта. — По мачтам! Надо спасать паруса!

Пена залепила жестяной раструб рупора, хлестко ударила по глазам. Сорвало треуголку. Но матросы уже были на вантах.

Они сделали чудо, спасли все шесть главных парусов «Надежды». Качаясь на мотающихся вокруг мачт, незакрепленных реях, цепляясь за тяжелую, послушную буре, а не людям парусину, они тянули ее, надрываясь, крепили к скользкому рангоуту, усмиряли тугими петлями рифовых узлов...

Это были люди, которых престарелый адмирал Ханьков не хотел пускать в экспедиции, полагая, что русский мужик не способен ходить на кораблях дальше Маркизовой лужи и для кругосветного вояжа надобны англичане. А мужики эти, за год плавания вздохнувшие от казарменной жизни, позабывшие про линьки и зуботычины, коими обильна была кронштадтская жизнь, окрепшие и осмелевшие душами, были теперь лучшие в мире матросы — Крузенштерн верил в то несокрушимо...

Дело казалось невозможным, но паруса были убраны. И все люди — слава Спасителю! — вернулись на палубу. Крузенштерн перекрестился рупором (выпустить его было нельзя — унесет). Нет страшнее муки, когда отвечаешь за многих людей, а помочь им в страшной работе и риске не можешь...

— Макар Иванович! Еще двух человек надобно к штурвалу, не держат...

Кроме Филиппа Харитонов и Нефед Истреква встали к двойному штурвальному колесу Клим Григорьев да Иван Курганов.

Нефед, отплеываясь от брызг (ох невкусен и неласков батюшка-океан, а еще «Тихим» прозывается), крикнул Курганову:

— Как же это ты, твое морское величество, попусту языком болтал?! Слово царское не удержишь!

— Што?! — не понял Курганов.

— Али забыл? На экваторе, когда царя морского представлял, што обещал? Погоду справную на все плавание!

— Так я же оговорился: коли вельможи не подведут! От их всякая пакость!.. Крути влево, гляди, уваливает...

Они, опытные рулевые, без команд знали свое дело: держать круче к ветру — так, чтобы только-только не заполоскало штормовые стаксели. Эти прочные треугольные паруса, натянутые между мачтами, оставались единственными на «Надежде».

Но в три часа ураган изорвал и стаксели.

— Ставить штормовую бизань! — крикнул Крузенштерн. Но сейчас буря пересилила людей. Хотя кинулись на помощь матросам лейтенанты, дело оказалось безнадежным. Мятающаяся парусина расшвыряла моряков, фал не шел, деревянный блок бизаньшкота свистнул у щеки Головачева подобно ядру из пушки.

Тем не менее натянувшийся на несколько секунд парус повлиял на движение судна. Оно перешло бушпритом направление свирепого ветра, и теперь он бил в правую скулу, постепенно разворачивая «Надежду» носом к осту.

Грянула волна, сорвала и унесла запасной гротарей, закрепленный снаружи правого борта. В щепки

разбило на шкафуте ялик. Дрожь удара передалась всему кораблю.

Никто из офицеров не был внизу, все собрались на юте.

— Макар Иванович, как течь в трюме?

— Я посылая узнать! Вопреки ожиданиям, не сильная! Хуже другое: могут не выдержать ванты, и мы останемся без мачт.

— Команде взять топоры!.. Ребята! Ежели мачта упадет, рубить такелаж без промедления!

Матросы на шканцах и шкафуте держались у бортов, цепляясь за торчащие в гнездах кофель-нагели. Над ревущим океаном висела тускло-желтая, полная летящей пены мгла.

...Потом Крузенштерн запишет в путевой журнал: «Сколько я ни слыхивал о тифонах, случающихся у берегов Китайских и Японских, но подобного сему не мог представить. Надобно иметь дар стихотворца, чтобы живо описать ярость оного».

Сейчас даже чудовищный шторм в Скагерраке, в начале плавания, казался нестрашным — каким-то домашним и уютным. Может быть, потому, что недалеко тогда еще был дом...

Неожиданно вспомнилось (хотя, казалось, до воспоминаний ли?), как появился в ту пору на юте поручик Федор Толстой, и тогдашний разговор (а точнее крик) с графом. Сейчас Крузенштерн думал о гвардейском поручике чуть ли не с сожалением. Бестолков, конечно, его сиятельство, скандален, и немало через то причинилось вреда общему делу. Но, по крайней мере, был он храбр и честен, того не отнять... Где-то он теперь?

...А поручик гвардии граф Федор Толстой сейчас был в пути к далекому еще Петербургу. И не ведал, конечно, в какой беде его бывшие товарищи. Как не ведал и того, что на подъезде к столице встретит его фельдъегерь и проводит напрямик в Нейшлотскую крепость — за все художества, кои стали известны начальству из опередивших графа писем Резанова. Впрочем, год, проведенный под арестом, не лишит поручика ни дворянской чести, ни боевого характера. И все еще будет впереди: дуэли, опять гауптвахта, рассказы в гостиных о заморских приключениях и славные дела на поле Бородинском...

...Мачты пока держались. Это говорило о прочности корабля. Но ничто не спасет «Надежду», когда она зацепит килем камни у берега. А берег уже чудился в воющей мгле, буря неуклонно двигала корабль к скалистой суше. Лишенный парусов, он был совершенно не управляем — семечко в кипящем котле тайфуна.

Тайфун достиг чудовищной силы. Барометр упал настолько, что ртутный столбик вообще стал невидим в стеклянной трубке. Ратманов прокричал Крузенштерну:

— Коли так будет продолжаться до полуночи, окажемся на камнях непременно! Никто и не узнает, где кончилось плавание наше!.. Вот тебе и «обошел вселенную»!..

Вставши близко к Ратманову и отвернув лицо от брызг и ветра, неожиданно и жалобно прокричал Петр Головачев:

— Макар Иванович! Достойное ли это дело — помнить зло в такую минуту? Может, и правда не переживем ночи! Вы спустились бы в каюту к посланнику и там простили бы с ним друг другу

обиды! Как подобает христианам в минуту большой опасности!

Ратманов же не смягчился душою, закричал в ответ:

— Коли его превосходительству отпущение грехов требуется, пускай сам сюда идет! А мне, главному помощнику капитанскому, в такой час уходить с юта не след!

Час был нестерпимый даже для самых смелых сердец, ибо ужасен сам ураган, а еще ужаснее покорное этому урагану бездействие. Ничего нельзя было предпринять. Оставалось ждать, что судьба смилостивится и переменит ветер.

В таком положении бесполезно мужество, дающее силы решительным поступкам. И остается мужество надежды. Жить «*spe fretus*» — «опираясь на надежду». Крузенштерн эту, словно отпечатанную четкими буквами, латинскую фразу помнил со времен ревельской школы. Старый учитель латыни, когда у кого-то случались огорчения, повторял эти слова, глядя встрепанную голову неудачника. И объяснял, что всегда в жизни следует надеяться на лучшее, без того не прожить в неласковом мире.

В детстве слова эти не казались важными: мало ли в школе слышишь поучений? Но со временем понял Крузенштерн их смысл. Ибо без надежды — как жить?

Не надежда ли на счастливый исход не раз вела под пули и клинки в абордажных схватках? Знал, конечно, что и смерть вероятна, а верилось в удачу... Не надежда ли толкала в опасный вояж из Африки в Индию на старом, готовом каждый день развалиться среди волн английской корабле, который лишь чудом добрался до Калькутты?.. Не надежда ли поддерживала, когда угнетающе долгие годы пылился в министерских кабинетах проект кругосветного плавания? А в самом этом плавании — как без надежды?

Даже мысль появлялась не раз — может быть, и ребячливая, да в ком из нас до смертного часа не живет ребенок? — коли кончится плавание благополучно, вписать в родовой герб Крузенштернов эти два укрепляющих душу слова: SPE FRETUS.

И корабль свой назвал «Надеждой» он не без тайного помысла, что имя будет способствовать удаче.

...Крузенштерн редко видел «Надежду» со стороны. Капитан чаще смотрит на свое судно с мостика, с юта. Но сейчас на миг представил он, как мечется среди водяных гор трехмачтовое побитое бурей суденышко с обрывками лопнувших брасов на реях, с ключьями контр-бизани — парус этот издрало ветром, когда он был уже спущен и притянут с гафелем к горизонтальному бревну гика... То с головою уходит в воду, то взлетает на гребень укрепленная под бушпритом носовая фигура — ее вырезал из дуба неизвестный шотландский мастер. Корабль строился в Англии и поначалу был назван «Леандр». Если верить мифам Эллады, юноша с таким именем каждую ночь переплывал Геллеспонт, чтобы увидеть свою возлюбленную Геро — жрицу богини Афродиты. А она зажигала на башне огонь, не дававший ее любимому заблудиться в ночном море...

Деревянный Леандр изображен был подавшимся вперед, со вскинутыми для сильного гребка руками, с отброшенными назад волосами. Когда корабль привели в Кронштадт и назвали «Надеждой», морское ведомство указало, что надобно заменить греческого

юношу двуглавым орлом, коего приличествует иметь на носу российскому судну, впервые идущему в столь дальнюю экспедицию, в чужие страны. Дело это, однако, за спешкою не было исполнено, и Крузенштерн о том не жалел. Ему казалось, что Леандр, плывущий на огонь надежды, подтверждает название судна.

«Но судьба древнего Леандра была горька», — мелькнуло у Крузенштерна. Он вспомнил, что однажды огонь на башне погас, и юноша погиб в волнах. Не намек ли это на участь корабля?

Нет, хватит примет! Они для слабых духом. Пока что Леандр на носу корабля взлетает над волнами и отчаиваться рано...

Но надежда — союзница того, кто сам не упускает ни одного мига удачи! И когда на минуту стих надрывный вой урагана и только рокот исполинских волн перемалывал тишину, Крузенштерн закричал, дивясь и радуясь неожиданному упавшему штилю:

— Ставить штормовую бизань! Живо, братцы!

Этот маленький парус должен был держать «Надежду» носом к ветру. Такое положение замедлило бы дрейф к опасной суше и уберегло бы корабль от многих разрушений волнами.

Русские моряки не знали еще всего коварства здешних тайфунов. Не ведали, что оказались в самой середине бури, в так называемом «глазе урагана». Чудовищные вихри тайфуна движутся по кругу, оставляя в центре небольшой участок — «глаз», или «око», — где ветра нет, лишь толчея непомерных волн. Однако тайфун весь, целиком, сдвигается над океаном. Перемещается и его центр. И краткий штиль настигает мореходов перед переменной сокрушительного ветра...»

Егор не раз видел на журнальных фотографиях такие кольцевые и спиральные циклоны, снятые со спутников. В центре облачных завихрений часто заметен похожий на копеечку глазок. Место короткого обманчивого штиля среди ревуших ветров.

И вдруг мелькнула у Егора мысль, что сам он тоже, как суденышко-скорлупка, оказался в таком штилевом глазке. Прежние ветры никуда не гонят его, отошли в сторону. Откуда подует новый ветер — не ясно. А пока, весь декабрь, Егор болтался на «мертвой зыби» — с неясным настроением, со смутными желаниями, без друзей, без цели, без планов. Потому что план про Среднекамское речное училище — это все-таки минутное вдохновение, не больше. Михаил, кажется, во многом прав...

Впрочем, сравнение нынешней жизни с «глазом тайфуна» было весьма натянутым. Потому что прежний ветер вовсе не был штормовым. Наоборот — ленивое дуновение, ленивое плавание. Куда глаза глядят. Одно лишь похоже — этот «ветерок» не хуже тайфуна мог посадить корабль Егора на камни и раздолбать в щепки, и разрыв с «таверной» не был ли попыткой поставить «штормовую бизань», чтобы встать носом к ветру?

Может быть, не только сочувствие к Редактору толкнуло на это Егора? Может, еще инстинкт вечно настороженного Кошака?

О крахе Курбаши и конце «таверны» Егор узнал от Пуля. Недавно. Увидев Пулю в школьном коридоре,

он вдруг решил, что лишняя информация не помешает, и прежним тоном сказал:

— Пуля. Сюда.

Тот подошел, мигая от робости.

— Ну? — усмехнулся Егор. — Как там ваша подземная жизнь?

— А? — сказал Пуля и замигал сильнее.

— Балда! Что нового в «таверне», спрашиваю! — Я не хожу, — прошептал Пуля и завозил ботинком по полу.

— Не ври, Пуля.

— Не-а... я правда. Никто не ходит. Курбаши ее закрыл.

— Почему?

— Он в армию захотел пойти.

— С чего это? У него же отсрочка.

— А он захотел, чтобы в декабре. Сам на комиссию пошел.

— Следы замечает, что ли?

— Я не знаю... Только он не успел. Его в милицию забрали.

Егор присвистнул.

— За что?

— Я не знаю...

— Может, за колеса?

— Ага. Что-то говорили про колеса. Только я не знаю... Валета тоже забрали, а потом отпустили.

— Его-то за что?

— Не знаю... Потом нас тоже в милиции спрашивали, чему он нас учил...

— Валет?

— Ну... Курить или вино пить. И вообще... Я сказал, что не...

— С родителями в милицию вызывали?

— Ага... С отцом.

— Выдрал?

— Еще бы, — по-взрослому вздохнул Пуля. И Егор вдруг понял, что не испытывает ожидаемого удовольствия от покорности Пуля и его унижения.

— А Копчик?

— Я не знаю... Он еще раньше с Курбаши поругался. Он теперь с Салтаном ходит, у них какая-то «каптерка». В сарае...

Это известие обеспокоило Егора. Курбаши «загремел», Копчик теперь ему не подвластен. Чего доброго, начнет выступать подлюга. Вместе с Салтаном... Но тревога была мимолетной. Не мог Егор бояться Копчика, гниду такую. Да и Салтан был фигура мелкая, с Курбаши и сравнивать смешно.

Больше тревожило другое. Не потянулась бы ниточка от Курбаши и Валета к нему, к Егору. Хотя какая? Ни в каких «делах» с ними Кошак не участвовал. То, что в «таверне» был своим человеком, само по себе еще не грех. Катался на угнанных мопедах? Но он не обязан знать, что они попали к Валету или Копчику незаконно.

Размышления эти прервал Пуля. Вдруг сказал с пониманием:

— Про тебя не спрашивали, ты не бойся.

— Идиот! Кто боится-то? Иди давай... Да не вздумай с Копчиком связываться, ноги оборву...

— Не, я не буду... — опять вздохнул Пуля.

...Шли дни, монотонные и без всяких важных событий. Никто из прежних обитателей «таверны» Егору не встречался. После школы идти домой не хотелось, и Егор шел смотреть какой-нибудь старый фильм или просто бродил по улицам. Погода стояла

мягкая, снежная. Недалек был Новый год. На центральной площади строили сказочный городок из прессованного снега и фанеры, ставили карусели и горки. Многие еще было не готово, но ребятишки из ближних школ и кварталов уже резвились там. Их не прогоняли. Зашел один раз на площадь и Егор. Прокатился на ногах с высокой горки, не упал. Остановился в конце ледяной дорожки довольный собой. Тут ему под ноги, сидя на фанерке, въехал пацан в мятом пальто и растрепанной шапке. Стукнул головой о колени. Егор поднял нахала за шиворот. А тот вынул глаза-пуговицы, заулыбался и спросил:

— А где дядя Миша?

Это был Заглотыш. Егор выпустил его: все-таки знакомый.

— Ты чего под ноги людям кидаешься?

— Меня занесло... А где дядя Миша?

— У себя в Среднекамске, где еще ему быть?

— Заехать обещал... — сказал Заглотыш. И вдруг обернулся, забыл о Егоре, завопил:

— Эй, Мартышонок! Обожди! — И помчался куда-то, махая фанеркой. Вот тебе и «где дядя Миша».

С Михаилом Егор в декабре пару раз беседовал по телефону. Так, почти ни о чем. Просто от одиночества. А один раз Михаил приезжал, и они опять бродили по городу. Потом зашли к Ревскому. Александр Яковлевич был один, чихал, жаловался на грипп и скуку, потому что болеть не привык. Обрадовался гостям, стал их кормить обедом. За столом разговор зашел, конечно, о прежних временах, о Толке, появились фотографии, в том числе и та, детская...

Егор сказал, что Наклонов у них в школе хочет создать литературный клуб.

— Ну, что же, — отозвался Ревский. — Олег всегда был организатором. Такая натура...

Егор знал уже, что маленькому Шурику Ревскому доставалось от сурового командира. Оно и понятно: видно на фотокарточке, какой Шурик был домашний хлюпик... А Наклонов?

Егор всмотрелся в решительное лицо Олега. Может, этому парнишке тоже нравилось, когда ему подчиняются? Может, его, как и Егора, сладко щекопали чужое бессилие и покорность?

А зачем? Почему от этого радость? Природа человеческая такая? Но не у всякого же человека... У того, кто сильный?

Капитан Крузенштерн — человек, про которого написаны книги, человек, чьим именем названо громадное парусное судно — он был сильный? Видимо, да. Одну слабость в жизни он допустил: заколебался, когда назначили командовать кругосветной экспедицией, не мог оставить молодую жену, ребенка она ждала. Но решился. И ни разу не дрогнул потом... Недавно Егор зашел в районную библиотеку и, подивившись неожиданному желанию, взял книгу об экспедиции «Надежды» и «Невы». Книжка так себе, сухомятина, но одно в ней запомнилось хорошо. В самом начале путешествия запретил Крузенштерн телесные наказания матросов, всякое унижение людей и грубость.

Значит, для настоящей власти над людьми, для настоящей силы вовсе не надо подавлять других?

«А вообще-то, зачем она тебе, власть и сила? — вдруг спросил себя Егор. — Разве ты ее когда-нибудь

хотел?» И понял, что запутался. Разозлился: философия дурацкая лезет в голову.

А Ревский и Михаил вспоминали съемки на «Крузенштерне» и какую-то Изу, которая пела песни под гитару. Ревский сказал, что, когда кончился съемочный сезон и «Крузенштерн» с курсантами готовился идти домой, на Балтику, Иза упрашивала капитана зачислить ее матросом. Хотя бы до конца того рейса. Конечно, ее не взяли. Да и режиссер Карбенева не отпустил бы.

— И ее счастье, — заметил Ревский. — А то еще неизвестно, какво бы ей пришлось при том урагане...

— При каком? — спросил Егор. И узнал, что «Крузенштерн» по пути в Ригу, в Северном море, был застигнут жестокой бурей. У него в полосе изорвало все паруса, потому что убрать их не успели. Барк долго несло бортом — как говорят, лагом! — потому что стала машина, и судно лишилось управления.

— Ауниньш рассказывал, я с ним встречался потом, — сказал Ревский. — Жуткое было дело... Он мне и киноплёнку прокрутил. Был среди них тогда один матрос, любитель с камерой, он ухитрился заснять... Волны — как египетские пирамиды. В том урагане погибло несколько скандинавских судов...

И теперь, слушая повесть Наклонова (совсем не похожего на мальчишку Олега), Егор временами представлял в центре тайфуна не маленькую «Надежду», а гигантский «Крузенштерн».

Олег Валентинович все читал:

«Едва поставлена была штормовая бизань, случилось неожиданное. Ветер ударил снова, но не с зюйд-оста, как прежде, а с противоположного румба. Парус на бизань-мачте сработал, как оперение на стрелке флюгера, и растерзанную «Надежду» мигом развернуло носом на норд-вест.

Легший на борт корабль едва не лишился мачт. И все же этот поворот сулил спасение — ветер дул теперь от берега!

Но радость не длилась и полминуты. Новая беда настигла «Надежду». Исполинские волны шли по-прежнему с юго-востока и, встреченные ураганным ударом с северо-запада, они взъярились, вздыбились еще сильнее. Две стихии сошлись, и на границе их столкновения оказалась деревянная игрушка — крупное создание рук человеческих. Сокрушительная волна грянула в корму, прошла через палубу до бака, сорвала целиком левую галерею снаружи.

Резанов, который стоял в своей каюте, вцепившись в стойку коечного полога, увидел, как вода выбила стекла и мелкие переплеты кормовых окон: смела с полки книги и дневники, стремительно заполнила тесный квадрат каюты, косо и тяжело колыхнулась между переборок. Хлестнуло солью в лицо, залило раструбы ботфортов. Подплыла камергерская шляпа, жалобно, как живая, ткнулась хозяину в живот и утонула. В сей миг уверовал чрезвычайный посланник, что наступил конец плаванию, причем, увы, совсем не тот, какой предписан был высочайшей инструкцией. Измученный Резанов остался почти спокоен, пожалел только, что гибель встретит здесь, а не на палубе.

Но неприятности посланника были сущим пустяком по сравнению с бедами трех матросов. У руля, мертво обнявши обод штурвала, остался лишь Истреков, Харитонов, Григорьева и Курганова оторвало



и унесло на шкафут, где ударило о закрепленные на палубе и теперь полуоторванные брам-реи.

Когда Курганов очнулся, он услышал стон. Клима и Филиппа зажало между палубой и приподнявшимся концом рея. Каждую секунду тяжелое бревно могло осесть и раздробить матросам кости. Голова Филиппа была в крови...

Застонав от собственной боли в спине, Иван по вздыбленной скользкой палубе съехал к товарищам, плечом попытался приподнять нок брам-рея. Видать, отчаяние силы дает нечеловеческие — приподнял чуть-чуть. Клим выбрался, его отнесло к фальшборту. Филипп лежал. Сам зажатый теперь между реем и палубой, Иван с дикой силой ногами толкнул Харитонову в плечи. Вышиб из капкана. И вовремя! В ту же секунду врезался на этом месте в дерево окованный сундук, полный ружей, сабель и пистолетов. До той поры он был накрепко принайтовлен к палубе.

Рикошетом сундук ушел к фальшборту, врубился железным углом под планшир и заклинился между орудийным станком и вздыбленной решеткой шкафута. Курганов опять застонал и откинулся. К нему уже тянулись руки.

...В реве потоков, треске рангоута, криках, звоне разбитого стекла корабль вскинул корму, пошел в ложбину меж волнами, почти скрылся среди гребней, потом выплыл опять на склон водяной горы. Даже с марсовых площадок бежала вода...

Но разрушительный удар волны был последней большой бедою этого страшного вечера. Ураган от-

носил «Надежду» от японских берегов и через два часа начал смягчаться. Показалась ртуть в барометре. Ратманов не удержался, крикнул Головачеву:

— Бог милостив, Петр Иванович! Видно, не пришло еще время для покаяния!

Головачев не ответил. Болела голова. Недавней волной лейтенанта бросило на кофель-планочное ограждение бизань-мачты, он ударился теменем и на миг потерял сознание...»

Наклонов читал долго, и, когда кончил, все с облегчением завозились. Потом захлопали. Олег Валентинович замахал над плечом ладонью:

— Нет-нет, только без этого! Я не эстрадное светило... Если понравилось — спасибо.

— Вам спасибо, — кокетливо сказала Симакова.

— В общем, спасибо всем нам, — подвел итог Наклонов. — В следующий раз встретимся после каникул. Поговорим о творческих делах... И давайте так: будете не только вы меня спрашивать, но и я вас. У нас с вами взаимный интерес: я вот возьму да и сяду за повесть о восьмиклассниках. А?.. Кстати, я давно хотел обратиться к школьной теме, материала только не хватало. На собственном сыне далеко не уедешь, он и не очень-то разговорчив. Спросишь: «Денис, что нового в школе?», а он: «Все нормально...»

Все посмотрели на Дениса Наклонова. Он сидел насупленный: то ли смутился, то ли отцом был не до-

волен. Потом быстро глянул из-под казацкой стрижки. На миг встретился с Егором глазами. И тогда вдруг чуть улыбнулся...

А Венька все-таки пришел на встречу с Наклоновым. Только с опозданием. Протиснулся в дверь, сел с краешку. Егор заметил его лишь в конце собрания. В коридоре они посмотрели друг на друга, и Егор неловко спросил:

— Ну и как тебе?..

Венька ответил странно:

— Написано, наверно, хорошо, но читать он, по моему, не умеет.

— Почему? — удивился Егор. — Нормально читает.

— Ну, я не могу объяснить... Но мне кажется, он слишком какой-то уверенный. По-моему, когда человек свою повесть многим людям читает, он волноваться должен. А здесь — будто чужое декламирует...

Словно застенявшись своей критической речи, Венька недовольно замолчал. Вздохнул:

— Пойду к второклассникам. Они там еще не кончили...

А Егор побрел по улицам. Спешить было некуда. Завтра уже начинались каникулы. Егор думал, чем их занять.

Сегодня утром подошла Бутакова и казенным голосом спросила, не хочет ли Петров принять участие в новогоднем концерте. Он сказал, что хочет. Светка ужасно удивилась. Егор невозмутимо объяснил, что собирается исполнить пляску древних жителей острова Нукагива. Из серии «Танцы народов мира». Он будет плясать в банановой юбочке и с берцовой костью в зубах. Но нужна партнерша: с побрякушками из позвонков и в бикини из кокосового волокна. Как она, Бутакова, на эту роль смотрит? Светка сказала, конечно, как она смотрит на Петеньку и кто он есть...

Ну, а если по правде говорить, что делать на новогоднем вечере? Топтаться под «тяжелый рок»? (Кстати, «легкий рок» бывает? Чем они отличаются?) И с кем там время проводить? Так сложилось, что в классе ни друзей, ни приятелей.

А интересно, Венька пойдет на вечер? Пожалуй, что нет. В этом они, кажется, похожи. Хоть и разные, но «стороны одной медали», как выразилась Классная Роза. Изредка у нее бывают проблески точных мыслей.

Размышления были прерваны крепким толчком. Какой-то пацаненок, вывернув из-за угла и глядя под ноги, всем телом налетел на Егора. Отскочил, поднял лицо. Серые глаза-пуговицы глянули из-под бесформенной клочкастой шапки. Обветренный рот с розовым пятнышком от болячки шевельнулся — то ли в несмелой улыбке, то ли в неразборчивом слове.

Новогодняя лотерея

— Ну и манера у тебя встречаться, — сказал Егор. — Всегда головой в пузо... Ты куда это такой?

«Такой» — то есть ободранный и мятый больше, чем всегда. На Заглотыше был засаленный ватник — взрослый, до колен, с подвернутыми рукавами и дамские сапоги с облезлым мехом по краю. Пуговиц на ватнике не было. Заглотыш запахивал его голыми,

без варежек, руками. Внизу ватник разошелся, и Егор увидел полинялые трикотажные штаны. Протертые до марлевой прозрачности. На одном колене висел широкий клочок, в дыру, как в окошко, смотрело колено с коричневой коростой.

Зато вокруг шеи был обмотан новый мохеровый шарф, совершенно нелепый при таком наряде.

Обозрев Заглотыша, Егор повторил серьезнее:

— Куда ты в таком балахоне?

— К тете Лизе, — полувздохом ответил Заглотыш. И как-то ищуще глянул на Егора. И глаза стали прозрачные — не пластмасса, а влажные стеклышки.

У Егора появилось неясное предчувствие хлопот и неприятностей. И чтобы их избежать, он торопливо сказал:

— Ну и топай к своей тете Лизе. И не налетай на людей...

— А ее нет, — тихо сказал Заглотыш. Запахнулся, уткнул подбородок в шарф, постоял секунду и пошел мимо Егора.

— Постой, — сказал Егор. И подумал: «Какого черта мне надо?» — Что-то я не пойму: если ее нет, куда ты идешь?

— Может, домой...

— Как это «может»?

Заглотыш объяснил монотонно:

— Она говорит: «Иди к тете Лизе ночевать, не мешайся». Я пошел. А тети Лизы нет. А она опять говорит: «Иди к тете Лизе, она скоро придет». А ее опять нет... А она говорит...

— Кто говорит? Мать, что ли?

— Ну...

— А почему она тебя из дому отправляет?

— Гуляют... — сказал, уткнувшись в шарф, Заглотыш. — А тетя Лиза не придет, она, наверно, уехала на Калиновку... к своему... Я, наверно, к Мартышонку ночевать пойду. Или к Цапе...

— А домой-то что? Не пустят, что ли, совсем?

— Гуляют же... Ну их...

По логике вещей должен был Егор сказать: «Ну, гуляй и ты. Пока...» И топтать своей дорогой. Потому как что ему Заглотыш? Никаких сентиментальных чувств Егор не испытывал. И в конце концов, что с Заглотышем делается? Не в тундре же, переночует где-нибудь... Так думал Егор и стоял.

Он глянул на себя глазами постороннего. Посторонний иронически улыбался: «Это, кажется, называется «Святочный рассказ». Перед Новым годом или Рождеством путник встречает озябшего малютку, ведет его к себе и делает счастливым...»

Вести это чучело к себе было немислимо. Мать устроит такой скандал, что хоть сам беги! «У нас что, приют? Это дело милиции возиться со всякой шпаной! Где ты его взял? У него лишаи, он обворует квартиру!»

Ну и тем более, значит, делать нечего. Надо идти... Что же ты стоишь, кретин?

Заглотыш тоже стоял. Будто ждал чего-то. Понял, что этот большой мальчишка его теперь не бросит? «А почему не брошу-то? — подумал Егор. — Благородные чувства проснулись, что ли? Чегой-то не похоже.. А... оставил бы я его раньше?»

Он уже не раз ловил себя, что разные мысли свои и поступки примеряет как бы на двух Егоров — на Кошака в «таверне» и на того, кто «после»... Егор добросовестно, детально постарался представить, как это было бы не сейчас, а «тогда». И... вот же черт!..

Кажется, не ушел бы и тогда Кошак. Скорее всего ухватил бы Заглотыша за рукав и, кривясь от злости на себя и от отвращения к замызганному «мышонку», отвел в «таверну». Чтобы тот согрелся и поел чего-нибудь... По крайней мере, так сейчас казалось Егору.

Но что об этом думать? Нынче Егору самому ткнуться некуда. Из дома, правда, не гонят, но все равно он один. «Плохо одному, недоброе это дело...» Тоскливо стало Егору. И он вдруг подумал, что именно от такого одиночества и тоски застрелился на корабле «Надежда» лейтенант Головачев, о котором рассказывал Михаил... Рассказывать-то легко...

И все же гораздо более одиноким и неприкайным, чем Егор, был Заглотыш... Или уже не был? Ведь он теперь стоял рядом с Егором и надеялся... «Speretetus», — хмуро усмехнулся Егор.

Заглотыш вдруг поднял подбородок, тронул розовое пятнышко языком и спросил:

— А куда пойдем?

— Пойдем!

Егор теперь знал — куда. И злился. На старшего сержанта Гаймуратова. Привез пацана, сунул мамаше, которой тот нужен, как футбольному мячу клизма — и привет! А дальше что?

...До Венькиного дома было недалеко. И вот удача! — дверь открыл сам Венька. Удивился, но меньше, чем Егору думалось. Быстро оглядел Заглотыша, ничего не спросил, сказал сразу:

— Проходите.

— Ямщиков... Слушай, тут дурацкий случай. Совершенно непредвиденный. Мне надо этого... субъекта отвезти в Среднекамск, к брату. А он видишь в чем... Если не околеченет по дороге, то все равно задержат, как бродягу. У вас не найдется каких-нибудь старых Ваиных шмоток? На пару дней.

— Найдется, конечно. — Венька вроде бы совсем уже не удивлялся. — Ну, проходите... А что случилось-то?

Егор очень коротко изложил историю Заглотыша. Лишь об одном не сказал: почему он, Егор, решил везти мальчишку к Михаилу. Решил со смесью ожесточения и надежды.

Несчастный этот Заглотыш при расставании с Михаилом так цеплялся за шинель, так вопил: «Дядя Миша, не надо! Дядя Миша, не уходите!» Значит, привязался к товарищу старшему сержанту. Не к матери рвется, а к нему. Так что же вы, Михаил Юрьевич? Вот и возьмите пацана! Заботьтесь, воспитывайте...

Конечно, Михаил Гаймуратов скажет: «Ах, я не могу взять себе всех! Их вон сколько, несчастных беглецов, трудных и заброшенных». А всех и не надо! Все тяжкие вопросы на Земле один человек никогда не решит. А ты просто возьми вот этого Витька, и одним неприкайным будет меньше...

«Легко говорить!..»

Говорить и правда легко, — рассуждать о долге, бескорыстии и других благородных вещах. А ты докажи на деле. Помнишь, ты сказал, что у меня есть дом в Среднекамске? Так вот, мне не надо, я отказываюсь, пусть вместо меня будет Заглотыш! Ну?..

Егор злорадно представил, как закрутится, заговаривается Михаил, и... в глубине души отчаянно боялся этого. И надеялся, что такого не случится.

Потому что пришлось бы тогда сказать: «Значит, все твои принципы — одни слова? Что же ты их пытался вбить в меня?» И хлопнуть дверью... И думалось об этом уже не со злорадством, а с горечью.

И отказаться от жестокого своего эксперимента он уже не мог. Жутковатый соблазн разом и полностью выяснить, что за человек Михаил Гаймуратов, был сильнее сомнений... Да и как откажешься? Заглотыша-то куда денешь?

Ничего этого Егор Веньке не сказал. Объяснил коротко:

— Раз домой не пускают, единственный выход — сдать его Михаилу. Он разберется, служба такая...

— Пожалуй... — согласился Венька. — Ну, вы приходите в конце концов.

— Да зачем? Дай какую-нибудь одежду — и мы на вокзал.

— Куда так сразу-то? — Венька посмотрел на переступающего нелепыми сапогами Заглотыша. — Он же, наверно, лопать хочет... А еще ты, братец-кролик, хочешь в туалет. — Он ловко вытряхнул Заглотыша из ватника и подтолкнул: — Топай вон в ту дверь.

Егор смотрел на Редактора смущенно и с уважением. Вот что значит иметь младшего брата. Сам Егор о таких вещах и не подумал бы... Венька покачал ватник в руке.

— Ну и хламида... Сейчас я с мамой поговорю, может, Ванюшкино старое пальто еще не распорол.

— Она дома? — перепугался Егор. Встречаться с Венькиной матерью он никак не рассчитывал. После всего, что случилось в октябре! Отец — другое дело, он мужик хладнокровный, поговорили по-деловому. А матери в тот раз, к счастью, не было...

Но Венька, не слушая, исчез, и минуты две Егор с появившимся Заглотышем переминались у вешалки. Потом вышли Венька с матерью. Она была рослая, с крупным лицом и густыми мужскими бровями. Сказала, будто знала Егора Петрова давно:

— А! Здравствуй, здравствуй, Егор... — Глянула на Заглотыша. — А это и есть путешественник? Сейчас посмотрим, что тут можно сделать... Да заходите же в комнату наконец!

Держалась она добродушно-решительно, не удивлялась, не расспрашивала. Значит, Венька успел ей все объяснить. И, видно, была его мама человеком дела.

Они разделись, разулись и в комнате увидели елку. Она подымалась в углу — высокая, под потолок. На стремянке стоял бесенок и надевал на верхнюю ветку золотисто-малиновый шар.

Бесенком был Ваня. В узком черном свитере, в черных колготках и шортиках с разноцветными заплатками. С пришитым длинным хвостом. На конце хвоста — кисточка...

Он обернулся и тоже не удивился. Расплылся в улыбку.

— Привет... — Забавный такой чертенок, светлорусый и круглолицый, с мохнатыми рожками на тонкой дужке от наушников.

Венька сказал:

— Ивану не терпится, вздумал уже сегодня елку ставить. И в костюме вырядился чуть не за неделю до спектакля.

— Это чтобы к роли лучше привыкнуть, — сообщил Ваня.

— Чего привыкать, и так бес натуральный,— сказал Венька.

— Не-а, я очень тихий ребенок.

— Ага, в тихом омуте...

Заглотыш молчал и мигал глазами-пуговицами. То ли подавлен был неясностью своей судьбы, то ли тихо завидовал чужой домашней радости. За окнами был уже лиловый вечер, горела над столом люстра, при ее свете сильно лоснилась затертая школьная курточка Заглотыша, под ней видна была грязная майка.

Венькина мама принесла стопку одежды и оглядела Заглотыша от дырявых носков до нечесаной макушки.

— Чадушко ты ненаглядное. Ты что, котельную чистил или уголь разгружал? Егор, как ты повезешь такого чумазого?

Егор только вздохнул. Венькина мама решительно сказала:

— Сейчас колонку зажгу. Отец недавно на кухне ванну оборудовал, благодать теперь...

Егор испугался:

— Мы же не успеем! В шесть двадцать последний поезд!

— Все успеете, еще полпятого, я его за три минуты отскоблю... Веник, надо еще картошки почистить, чтобы на всех хватило. А то чего же они голодные в дорогу-то... Егор, а дома у тебя знают про путешествие?

— Естественно,— соврал он как можно беззаботнее. А на самом деле решил, что позвонит домой из Среднекамска. Говорить с матерью сейчас — это будет сплошной крик...

Картошку чистили здесь же, в комнате, потому что на кухне Венькина мама, Анна Григорьевна, «отскребала» покорного Заглотыша. Сидели на полу. Егор — делать нечего — взялся помогать Веньке. Последний раз до этого он чистил картошку в «Электронике», на привале у костра, и теперь уже через минуту сосал порезанный палец. Венька сказал:

— Вань, спустись, помоги. Успеешь с елкой до Нового года.

Бесенок скакнул со стремянки. Картошку он чистил как фокусник. Егор сказал, чтобы скрыть стыд за свое неумение:

— До чего неохота почти пять часов трястись в поезде...

— Деньги-то есть на билет? — спросил Венька.

— Пятерка, к счастью, есть, хватит... Только бы поезд не опоздал, а то иридется среди ночи бродить. Я ведь даже не знаю толком, где у Михаила дом, искать придется...

— Слушай, а ты говорил, что брат часто в командировках,— напомнил Венька.— Что, если его и сегодня дома нет?

— Ох...— Егор в запальных мыслях о своем эксперименте про такую грустную возможность и не вспомнил.

— Вень, можно я от вас позвоню? Я быстро, это не дороже полтинника, потом отдам...

— Звони, конечно!

Знакомый голос пожилой женщины (наверно, мать Михаила) суховато ответил, что Михаил Юрьевич на ночном дежурстве и будет утром. И вдруг совсем иначе, нерешительно и словно ожидая чего-то, женщина спросила:

— А это откуда говорят? Это... кто?

— Я... потом,— растерянно сказал Егор и положил трубку. Беспомощно оглянулся на Веньку.— Вот же невезуха, он дежурит... Не тащиться же к нему в приемник.

— А зачем вам переть в такую даль на ночь глядя? — спросил Венька.— Ехали бы завтра с утра. Витек твой после ванны да после еды знаешь как ословеет! Его спать потянет...

— Да где ему спать-то!

— С нами. Наверх его положим, а сами вниз, ага, Вань?

— Нам не привыкать,— отозвался Ваня, размазывая с клубня длинную кожуру.— Позвонок три ночи у нас ночевал.

— По... звонок? — изумился Егор.

Венька нехотя объяснил:

— Ну, отец наш с его матерью решил побеседовать... про то дело. На всякий случай. Что, мол, ваш Колька задумал, с кем связался... А она такая, сразу за ремень. Он — драпать. Трое суток у нас и спался.

— Кошак, а правда, что в «таверну» он больше не ходит? — спросил Ваня.

— Иван...— сказал Венька.

Егор скрутил в себе тошнотворную неловкость и ответил безразлично:

— Не знаю. Я и сам там не был с той поры. Говорят, вообще лавочка прикрылась.

— Вань, иди-ка лучше елку украшать,— сказал Венька.

Тот, покрасневший, сказал, сопя:

— То чисти, то украшай... Сам не знаешь...— И встал. Венька взял его за хвост и хвостом этим хлопнул по заплатам:

— Сгинь, нечистая сила.

«Нечистая сила» с облегчением показала язык.

— Я уже все игрушки повесил. А лампочки сам вешай. А я буду шиштемю разворачивать. Для лотереи.

Егор, глядя в кастрюлю с картошкой, сказал:

— Ночевка эта... А что... ваша мама скажет?

— То же и скажет,— Венька подхватил кастрюлю и уволок на кухню. Вернулся он с матерью и Заглотышем. Витек был с розовым лицом и мокрыми волосами, в джинсах и клетчатой рубашке. Посмотрел на Егора и виновато улыбнулся. Анна Григорьевна с порога проговорила:

— Правильно надумали, чтобы завтра ехать. А то куда в темень-то? И электрички опаздывают, заносы на дорогах. У нас на работе Анна Михайловна есть, так у нее свекровь три часа в поезде перед самым городом просидела... Скоро наш папа придет, поужинаем не спеша, я к чаю пирог купила в полуфабрикатах.

— А я лотерею сделаю,— опять пообещал Ваня.— Вроде новогоднего спортлото... Ко... Егор! Ты тоже не уходи, мне надо, чтобы побольше участников было, а то не интересно.

Егору как раз полагалось оставить Заглотыша и распрощаться до завтра. Чего еще тут глаза людям мозолить? Но не хотелось уходить из этой теплой комнаты с большой пахучей елкой, от тихого праздника... Ну, придет он опять в свою большую, тщательно прибранную квартиру. С кем перемолвиться? Кому рассказать о Заглотыше, о своих тревогах? И елки дома нет. Мать считает, что от хвои много мусора, иголки застревают в ковровом ворсе. Правда,

она ставит на телевизор сентиментальную елочку из пластмассы, но какой от нее праздник? Елка, которую в прошлом году нарядили в «таверне», и то была не в пример лучше. Мать с отцом ушли встречать Новый год к знакомым, Егор напел, что проведет полночи у хорошего товарища (при его маме и папе) по соседству, а потом ляжет спать. И до утра обитатели «таверны» то веселились у себя в подвале, то на площади у городской елки. Тем более что портвейна был изрядный запасец...

Но сейчас что об этом вспоминать? Предчувствие одиночества опять холодком дохнуло на Егора. Ох, не хочется домой.

Словно обо всем догадавшись, Венька сказал:

— Помоги лампочки повесить. У нас две гирлянды. Папа мигалку сделал...

Распутывали провода и растягивали на елке гирлянды долго. Столько лампочек, от верхушки до пола! Егор сказал про елку:

— Какая громадная...

— Мы ее из пяти штук смонтировали,— объяснил Венька.

Егор исколот в хвое руки, запястья чесались, но это было даже приятно. От новогоднего запаха весело кружилась голова. Он стоял на стремянке и видел, как Ваня и Заглотыш растягивают какие-то проволоки, ставят на полу и подоконниках непонятные железки и колеса. Ваня включил в работу Заглотыша решительно и просто, как давнего приятеля: «Ну-ка, помогай...» Заглотыш помогал послушно и молчаливо.

Пришел отец Ямщиковых. Сказал, что задержался на заводе: с планом, как всегда в конце года, запарка. С Егором поздоровался так, словно тот заходил к ним каждый день. Одобрил елку, поглядел, как Ваня и Заглотыш монтируют решетчатое колесо на подставках, и спросил:

— А кормить работников будут?

— Будут,— сказала Анна Григорьевна.— Иди-ка, помоги мне на кухне.

Видно, там она объяснила мужу про Заглотыша, потому что, вернувшись, Аркадий Иванович ни о чем не спрашивал. Будто этот пацаненок всегда обитал тут.

Раздвинули, накрыли клеенкой стол, Егор подумал, что пришло окончательное время «намыливаться» домой. Но Анна Григорьевна сказала:

— Его-ор. Что за новости...

Она принесла громадную сковородку с жареной картошкой, тарелку с копчеными селедками. Сели. Картошка была такая, какую жарила когда-то бабушка Мария Ивановна. И селедка аппетитная. Всем понравился ужин, особенно Заглотышу. Он сидел все так же молчаливо, скромно, однако глотал жадно. И на ще еще опять напрягались и онадали жилки, будто шарик перекачивались...

После ужина Ваня объявил открытие своей лотереи. Зазвякала повсюду, замигала огоньками «шештема». Зажглась елка, а люстру выключили. Под елкой завертелось решетчатое колесо с колокольчиками. Все по очереди должны были нажимать на рычаг, тогда с колеса падал скрученный в трубку билетик с номером.

Номера — дело случайное, и, наверно, были они лишь для виду. Иначе как объяснить, что каждому достался самый подходящий выигрыш? Отцу — пачка бритвенных лезвий, маме — зеркальце, Веньке — ру-

биново-прозрачный угольник для черчения... А себе Ваня вручил пистонный пистолет, который палил очередями.

Не забыли и гостей. Заглотыш получил модельку старинного автомобиля и взял ее в ладони, как живого цыпленка. Задышал над ней. А Егору Ваня дал зеркально-зеленый елочный шар. На шаре поблескивали нанесенные стеклянной пудрой редкие звездочки-снежинки. Скорее всего, этот приз был подобран на скорую руку, но Егор обрадовался шару какой-то чистой младенческой радостью. Словно перенесся в дошкольное детство, когда елка и все новогодние чудеса волновали его до сладкой дрожи.

Огоньки отражались в шаре, как созвездия. Матовый налет от дыхания Егора лег на зеленое зеркало и тут же исчез.

— Спасибо, Вань... Только как же я его домой-то понесу? Раскокаю ведь...

— А я коробку дам, с ватой...

Дома Егор положил шар в раструб медного индийского кувшина, который бабушка не захотела увезти с собой в Молдавию. Кувшин стоял на подоконнике, и когда Егор выключил лампу, в шаре собрался в точку рассеянный свет уличных фонарей.

Егор лег. Рано лег, еще до одиннадцати. Просто ничего не хотелось делать. Лежал и вспоминал, как сверкала елка и как разбаловались Ваня и Заглотыш. Сперва разыгрался один Ваня — ко всем подкрадываясь, выскакивал из-за спины и подвывал, как настоящий бес. Наконец осмелел и Витек: стал подбираться к Ване и дергать за хвост. Они начали носиться по комнате — два чертенка: Ваня надел на Заглотыша дужку с рогами.

Наконец Анна Григорьевна цыкнула и сказала, что «мелким исчадиям ада» пора в постель. Витек пошел сразу и опять держал в ладонях, как цыпленка, автомобильчик. А Ваня заупрямился. С хотом залез под стол. Венька выволок его.

— Егор, помоги...

Егор ухватил Ваню за ноги. Ноги дрыгались, тонкие щиколотки вертелись в чулочной ткани и выскользывали у Егора из ладоней. Тряпичный хвост попал ему под ступню и чуть не оторвался. Непослушно бесенка бухнули на нижнюю койку. Он хотел вскопчить, но Венька быстро сказал:

Раз-два-три —

Ванька-встанька, замри.

Ваня застыл в нелепой позе, с обиженной улыбкой. Быстро и умело Венька стянул с братишки «чертячью шкуру», засунул его, будто одеревенелого, под одеяло и тогда разрешил:

— Отомри... Но не дрыгайся, а то опять заморожу.

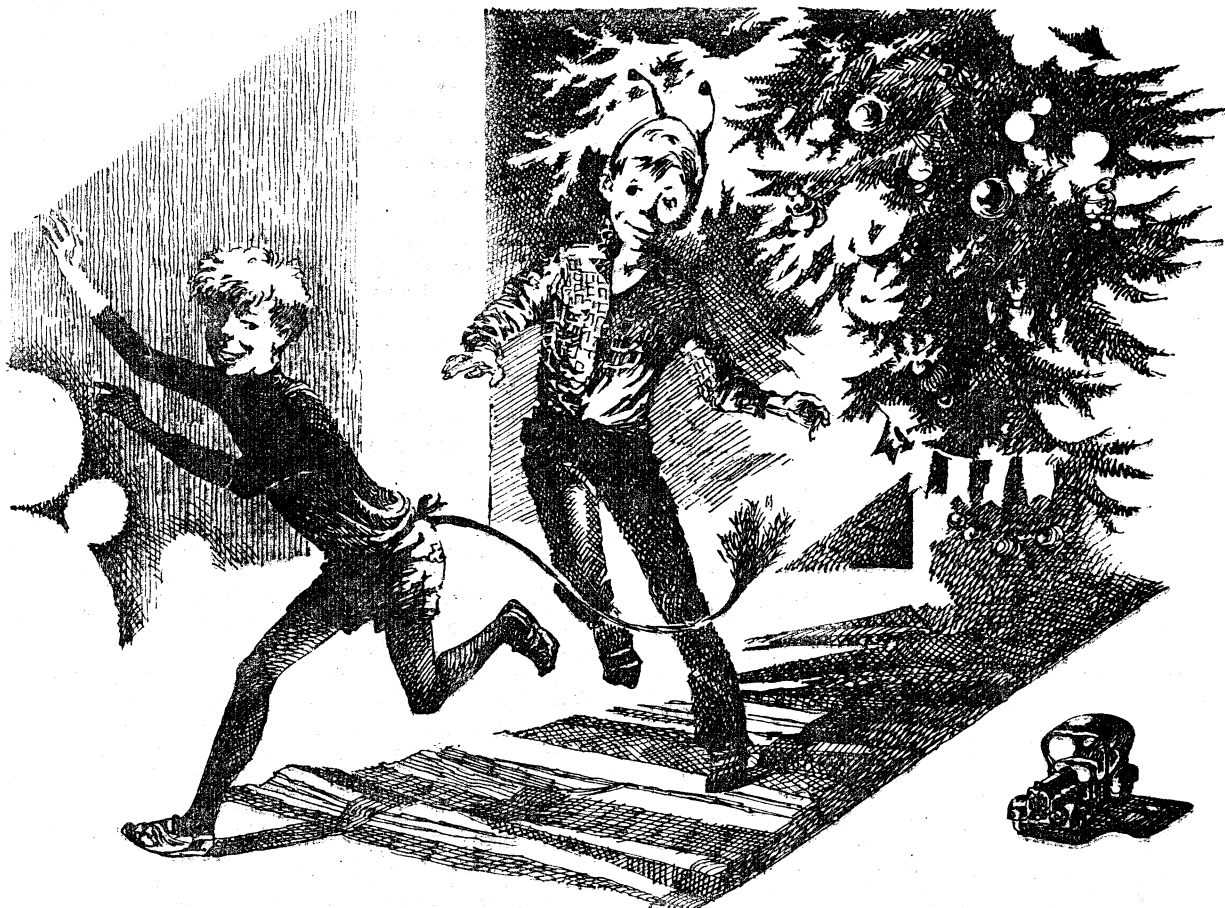
— У, Венище... Скажи спасибо, что я все свои замиралки израсходовал... — Ваня натянул одеяло до подбородка и показал розовый язык.

Венька сказал Егору:

— У нас игра такая: кто кому сколько «замиралок» проспорит. Иван свои тут же расходует, а я экономлю. Для воспитания.

— Ладно-ладно, припомню, Венечка,— пообещал Ваня. А Егору сказал: — Шарик не забудь.

Подсаженный на «второй этаж» Заглотыш тихо возился там, пристраивал в углу постели автомобильчик.



...Все это Егор вспоминал сейчас и смотрел на искру в шаре. И затем искра выросла и распалась на множество цветных огоньков — стала сниться елка и Ваня с Заглотышем, которые катались на игрушечном автомобиле. После этого снилось что-то непонятное, но хорошее: не то плес, над которым белеет вдали колокольня, не то теплое море и берег с крупными цветными гальками, которые маленький Гошка собирает в подол майки...

Потом неизвестно с чего (Егор совсем о ней и не думал) приснилась Бутакова. Странно так: на доске под желто-синим парусом. Даже не на доске, а на лыже, потому что мчалась она не по воде, а среди увешанного блестящими шарами ельника, по сугробам и снежным застругам. Вьюжная пыль разлеталась из-под лыжи крыльями... Светка затормозила перед Егором — парус медленно лег на солнечный снег, на лиловые тени елок.

— Ну, что смотришь? — Светка смеялась, блестя мелкими ровными зубами. Зима была кругом, а она в одном купальнике, будто не на лыже, а на виндсерфере. Купальник — ярко-алый, с черными косыми полосами через грудь, тот, в котором она всегда на физкультуре...

— Ну, что смотришь? — спросила она опять. — Сам-то небось не умеешь так! Хочешь, научу?

«Застынешь, ведь, дура», — хотел сказать Егор, но осип. Подумал: может, дать ей куртку? Но Светка ничуть не мерзла, смеялась. На загорелом ее плече таяли, превращались в капельки снежинки. Егору очень захотелось стереть их, и он снял уже варежку,

потянул руку, но вздрогнул и проснулся с частым дыханием...

Тихо было, по-прежнему блеснул шар. На кухне горел свет, мать с отцом о чем-то тихо говорили там. Егор на дыпочках сходил в туалет, напился из-под умывального крана очень холодной воды. Снова лег. Появились мысли, что, пожалуй, с Заглотышем — дело пустое и глупое. А впрочем, будь что будет. И подумав об этом, Егор уснул.

Каникулы на корабле «Надежда»

Хронометр стоял на старинной, красного дерева, тумбочке недалеко от раскрытой двери. Когда замолкали голоса, он тикал особенно звонко — вщелкивал в тишину медные шпильки. Его хорошо было слышно в полутемной прихожей, у изразцовой печки.

В этом углу, у печки с раскрытой дверцей, Егор и Михаил сидели часами. Михаил маялся болями в спине, но нет худа без добра — получил на несколько дней больничный лист. Теперь у него тоже были как бы каникулы, только с «позвоночным уклоном» и ежедневным хождением в поликлинику на электро-массаж.

Усаживался Михаил в развалистую, удобную для его спины качалку прошлого века, а Егор устраи-

вался на полу или на дровах. Разжигали печь и говорили. О многом...

О Толике говорили и его аппаратах, о съемках в Севастополе, о Крузенштерне, Резанове и Головачеве, о рукописи Курганова. Несколько вечеров подряд. Переплетение времен и судеб казалось Егору похожим на сюжет многосерийного телефильма.

Один раз Егор спросил:

— А вдруг рукопись когда-нибудь все-таки найдется?

Михаил не стал доказывать, что это фантастика. Он сказал:

— Практически шансов никаких, но я тоже иногда об этом думаю. Даже снилось несколько раз... Будто беру листы, читаю. Все так хорошо, интересно. А проснусь — и сразу забываю...

— А куда могла деваться тетрадь с эпилогом? Та, в которой Толик писал, по памяти?

— Не знаю, не нашли в бумагах у него... Если бы найти, можно было хотя бы этот эпилוג напечатать. В каком-нибудь журнале. Как отдельный рассказ. В память о Курганове... И о Толике...

— А если бы нашлась вся рукопись? Можно было бы напечатать?

— Наверно... Только пришлось бы, скорее всего, название изменить. А то есть теперь такой роман Хемингуэя — «Острова в океане». Тоже после смерти автора выпущен...

— Можно было бы назвать «Путь в архипелаге», — вдруг сказал Егор.

Михаил посмотрел удивленно.

— Ну... — Егор почему-то смутился. — Конечно, Крузенштерн плыл не в каком-то одном архипелаге, он по всем океанам... Но если повесть о людях... будто каждый как остров... Тогда ведь путь от острова к острову. От человека к человеку...

Он не стал рассказывать, что все эти дни ненавязчиво, но постоянно звучат в нем, переплетаясь, две мелодии: песня из «Кораблей в Лиссе» и песня Камы. Не решился. Да и не сумел бы.

Но вообще-то они с Михаилом разговаривали вполне откровенно. Не то, что во время прошлых встреч. Михаил рассказал и о гранате... О том, как он, двенадцатилетний Гай, в Севастополе бросил, не подумавши, в руки Толику учебную лимонку с сорванным кольцом. А тот решил, что граната настоящая, и грохнулся на нее, чтобы спасти Гая. И как потом Гай ревел и просил прощения, а хмурый Толик вытирал ему платком лицо. И, наверно, когда вынимал платок, вытряхнул билет на симферопольский автобус. И обратные тоже. И поэтому повез Гая в аэропорт на такси, а возвращаться в Севастополь решил на электричке. И на симферопольском вокзале наткнулся на двух бандюг, с которыми сталкивался и раньше... Если бы не было случая с гранатой и если бы Толик не потерял из-за этого обратные билеты, он не пошел бы на вокзал, и, возможно, ничего не случилось бы... Впрочем, Гай не знает точно, были ли у Толика эти билеты. Кое-кто говорит, что их быть не могло и он с самого начала думал ехать назад на поезде. И что бандиты искали инженера Нечаева специально, следили всюду... Но кто теперь может сказать точно?..

Егор долго молчал, ворочая в печке дрова. Потом не вытерпел, спросил:

— И что, все эти годы так и маешься?

— Не маюсь. Живу, — сказал Михаил жестко-

вато. — Но... нет-нет, да и опять возьмет за душу.

— Но ведь ясно же, что ты здесь ни при чем! Не было билета, а бандиты все равно были!

— Никому это не ясно, — безнадежно сказал Михаил.

— Граната ничего не решала, — упрямо, хотя и без внутренней уверенности заявил Егор.

— Кто знает, решала или нет... Она все равно была, никуда не денешься. Причем краденая. Как ни крути, а я ведь стащил ее у тех, у севастопольских ребят, хотя потом и признался. Вот так люди и расплачиваются за один подленький шаг... Судьба.

Егор осторожно сказал:

— Ты был пацан. Ты же не знал... Другие целую жизнь химичат и о совести не думают и вовсе даже не расплачиваются. При чем тут судьба?

Михаил шумно повозился в заскрипевшей качалке.

— Да судьба-то у каждого своя...

Замолчали. Только угли пошелкивали да хронометр: динь-так, динь-так...

В открытую дверь было видно, как в комнате на полу возится со старой железной дорогой (еще Гай играл когда-то) молчаливый, тихо прижившийся здесь Заглотыш...

Пять дней назад, когда они появились в доме, Михаил повел себя непредсказуемо. Радостно вытаращил синие глаза, всплеснул одной рукой (другой держался за спину) и захохотал:

— Вот это парочка! Сочетание! Какими судьбами?

Егор подумал, что запланированный эксперимент летит вверх тормашками. Чтобы спасти положение, он заговорил сердито и с напором, но напор получился беспомощный:

— Вот, получай!.. Привез тогда и думаешь, все? А ему куда? Он опять... Он матери нужен меньше паршивого котенка. А ты его отцепил от шинели и нате... Так, да?

Михаил перестал смеяться, но глаза остались веселыми. Главное, что он ничуть не растерялся и не удивился.

— И значит, ты его обратно? Ай да братец!

— Ты не вертись, — безнадежно сказал Егор. — Ты отвечай за человека до конца. Это тебе не словами других воспитывать...

— По-нятно... Витюха, иди-ка вон туда, раздвайся... Братец Егорушка, ты, значит, мне испытание решил устроить? Усыновляй, мол, парня, если не болтун! Так?

Вот же черт! Он всегда все знает наперед!

— Не так! — раздосадованно рявкнул Егор. — Найди отговорку! Скажи: «Если я буду всех...»

— Ага! А ты скажешь: «Не надо всех, возьми одного...»

— Вот именно! — Егор понял, что сейчас постыдным образом разревется.

Но Михаил сказал уже без намека на смех, тихо и грустновато:

— Насчет одного у меня были другие планы. Есть на примете... Эх, Егор, Егор, а ты думаешь, это легко? У него же мать живая. Никакая комиссия не позволила бы, хоть лоб расшиби...

Егор оглянулся на Заглотыша, тот у вешалки медленно стаскивал с себя Ванино пальтишко.

— А никто про него и не вспомнит. И не спросит,

— А школа? А документы?.. Эх ты, святая простота... Кстати, мать знает, что ты его увез?

— Больно он ей нужен!

— Сегодня не нужен, а завтра крик подымет.

Венькина мама тоже говорила об этом Егору. Но он беззаботно соврал, что у матери Заглотыша был и ей, полупьяной, сообщил об отъезде.

— Надо отправить открытку,— решил Михаил.— Ибо чую, что эта личность осядет здесь на неопределенное время.

Егор шмыгнул носом и агрессивно предупредил:

— Только попробуй сдать в приемник!..

— Дурень,— вздохнул Михаил. И вдруг крикнул: — Мама! Егор приехал!..— А перепугавшемуся Егору шепотом пообещал: — Не бойся, нежностей не будет. Я уже все рассказал...

Однако нежности были, хотя и недолгие. Сухоньякая женщина стремительно вошла в прихожую, секунду молча стояла перед Егором, потом обняла, прижалась к его плечу. Всклинула, расцеловала его в щеки и в лоб шероховатыми губами. Отодвинулась, глядя влажными солнечными глазами. Сказала несколько раз:

— Господи боже мой, господи боже мой, хоть бы это был не сон... мальчик мой...— И опять прижала его к себе.

Затем то же самое повторилось с другой женщиной, молодой еще. Это была сестра Михаила Галина.

Михаил в то время помогал раздеваться Заглотышу и что-то его тихо спрашивал. Потом громко сообщил:

— Товарищи, это Витя. Он у нас... поживет. Будет спать в боковушке, а мы с Егором в моей комнате.

— Я не буду спать! Я сейчас домой...

— Да? — ехидно сказал Михаил.— Во! — И он показал полновесную дулю.— Ты приехал на каникулы.

Мать, вопреки ожиданиям, не спорила и не возмущалась, когда Егор позвонил из Среднекамска. Сказала только:

— Мог предупредить хотя бы, не срываться сломая голову... Ну, смотри сам, не маленький уже. Веди себя там по-человечески. И звони почаще... Дай номер телефона... Гаймуратовых...

«И не забывай надевать тапочки»,— мелькнуло у Егора, и он впервые за долгое время подумал о матери с оттенком грустной нежности. Наверно, потому, что оказался от нее далеко...

Первые сутки прошли в разговорах с Михаилом, в знакомстве с домом и его жителями. Дом с улицы выглядел старым, осевшим, а внутри оказался просторен и светел. И комнаты высокие. В них потрескивали пересохшие полы, позванивали несовременные люстры, блестело синее стекло ручек на оконных рамах. Пахло березовыми дровами. И всюду книги, книги. Потертое золото на кожаных корешках старинных словарей, фотографии на стенах между высокими шкафами с темной резьбой. Большой, маслом писанный портрет хирурга Гаймуратова, умершего десять лет назад — он приходился Михаилу дедом. И, значит, Егору — тоже.

Портрет висел в кабинете, где за письменным столом с львиными головами сидел седой грузный человек в очках-линзах. Из-за этих линз глаза его казались необыкновенно большими. Он отодвинул

кресло, тяжело поднялся навстречу Егору. Руку дал, сказал без улыбки, но по-доброму:

— Здравствуй, Егор. Вот и прибавилось наше семейство. Бывает и у судьбы справедливость, а?.. Ну, осваивайся. А я тут еще посижу над своей писаниной, хотя и надоело...

— Папа учебник пишет,— объяснил Михаил.— Для химико-технологических вузов.

— Да. Надо успеть,— серьезно сказал Юрий Вячеславович.

— Папа, ты опять...— напустился Михаил.

— А я чего? Я к тому, что издательство торопит. Чтобы не нарушить договор...

В столетнем доме на Старореченской улице (которую то грозили снести, то обещали сохранить в заповедной зоне с деревянной архитектурой) жили восемь человек. На одной половине — Михаил с родителями, на другой — его сестра Галина с мужем и дочерьми и брат ее мужа, холостой инженер с судовой верфи.

Дочери Галины — Шура и Катюша, веснушчатые девочки девяти и десяти лет — живо заинтересовались Заглотышем. Тот сперва помертвел от робости, потом слегка оттаял. Даже согласился пойти с девочками в ближний кинотеатр на мультики. Когда вернулись, Катюша громким шепотом спросила:

— Дядя Миша, а правда, Витя всегда будет жить у нас?

Заглотыша, к счастью, рядом не было. Михаил ответил:

— Всегда, наверно, не получится, вы его скоро замучите.

— Не-е... Мы с ним дружить будем.

Потом оказалось, что дружба не получается. Шура и Катюша целые дни свистали на улице — то на площади у городской елки, то на крутом речном берегу, с которого ребята катались на санках и фанерках. А Заглотыш тихо возился с железной дорогой, листал подшивки старого «Огонька» или помогал тете Гале на кухне. Она сказала:

— Мне бы такую девочку. Вместо тех сорвиголов...

Вечером тридцать первого в самой большой комнате, где стояла елка, раздвинули стол — тяжелый, с ножками, как у рояля. Около одиннадцати Виктор — веснушчатый, как дочери, муж Галины — сообщил «открытым текстом», что пора проводить уходящий восемьдесят второй. Хлопнула пробка. Ребятишкам дали газировки, а Егору Михаил налил в фужер шампанского, как всем. Переглянулся с матерью: «Ради такого случая можно...»

— Папа,— сказал он.— Давай тост. По старшинству.

Юрий Вячеславович поднялся за столом.

— А что придумывать тосты? Год этот, он всякий был. И все-таки для нас счастливый. Сами понимаете...— он посмотрел на Егора.— Вот и давай-те — за судьбу...

Шампанское зашкотало небо, как лимонад, защипало в носу (совсем не похоже на «таверновский» портвейн). Егор весело «навалился» на горячие пельмени. В это время в прихожей длинно-длинно затрезвонил телефон. Михаил кинулся из-за стола. И вернулся через пять минут. Улыбчивый.

— По просветленной физиономии Гая можно за-

ключить, что благосклонно звонили с южных берегов, — заметила Галина.

— Галка, — сказал молчаливый брат ее мужа Борис Васильевич. — Была бы ты моей женой, за косы бы драл. Для излечения от болтливости...

Михаил молча поглощал пельмени. И, кажется, забыл про больную спину.

После двенадцати началась веселая суета — все вручали друг другу подарки. Заглотышу досталась коробочка с «конструктором», а Егору — роскошная авторучка и блокнот с лаковым переплетом. На корочке — фото: «Крузенштерн» под всеми парусами. Прямо как в кино. Это уж Михаил, конечно, поставился.

Егор сказал растерянно:

— А мне и подарить нечего. Никому...

— Ты сам подарок, — улыбнулась Варвара Сергеевна, мама Михаила. А Галина добавила без прежней хитроватости, серьезно:

— Вообще-то и ты можешь подарок сделать... Всем.

— Какой? — удивился Егор.

— Потом скажу.

Егора это заинтриговало. Он смотрел нетерпеливо.

— Ладно, пойдем, — позвала Галина.

Они отошли к елке. Ветка с картонным зайцем покачивала Егору щеку. Галина щекочущим шепотом сказала ему в ухо:

— Но если это очень трудно, то не надо, не обещаю...

— А что обещать-то?

— Если можешь... брось курить.

Щеки Егора словно продрало теркой. Помолчал он, стыдливо проморгался и буркнул:

— Чё, заметно разве? Я три дня не дымил.

— Милый мой, я же химик. Всякие флюиды чувю за версту... Ты очень привык?

— Да ну... я как когда. Могу целую неделю без этого...

— Ну, и как насчет подарка? — прошептала она.

— На всю жизнь? — осторожно спросил Егор.

— Нет, таких клятв не надо. Хотя бы ровно на год. А?

Егор подумал, тряхнул головой.

— А... ладно!

— Правда?

Он засмеялся и прижал к груди растопыренную ладонь:

— Клянусь!

— Вот спасибо... Только имей в виду, скоро тебе очень захочется закурить. Так всегда бывает.

— Вот еще!

Курить захотелось через десять минут. Отчаянно. Чтобы задавить клятвopеступное желание, он укордкой допил из фужера шампанское и заел селедкой под майонезом. Борис Васильевич поставил на проигрыватель старинную «Рио-Риту»...

Дрова прогорели, разговор о потерянной рукописи угас. Егор встряхнулся и бросил в печь два березовых полена. В прихожую заглянула Галина.

— Братцы ненаглядные, ужинать пора... А если кто-то будет копать, не получит письмо из Севастополя. Только что соседка принесла, им по ошибке в ящик бросили...

Михаил вскочил, охнул, взялся за спину.

— Давай письмо немедленно.

— Ладно уж...

Михаил разорвал конверт, поднес развернутый лист к открытой печной дверце, стал читать при свете разгоревшейся бересты. Заулыбался. Достал из конверта фотоснимок.

— Вот он, Никитка, гляди...

Рядом с молодой белокурой женщиной в плаще стоял большеглазый, удивленный какой-то мальчик. Без шапки, в расстегнутой курточке, с октябратской звездочкой на лацкане школьного пиджака. Светленький, коротко остриженный, с оттопыренными ушами. Двумя руками держал опущенный к ногам ранец.

— Хотели его к нам на зимние каникулы привезти, да простыл бедняга. На юге-то... — сказал Михаил.

— А это Ася?

...Егор все уже знал про Асю. Про ее обычную, как у многих, судьбу. Муж Аси был выпускником военно-морского училища, после окончания учебы уехал с женой на Камчатку, а через год Ася вернулась к матери с крошечным сыном. И больше об отце Никитке старались не говорить. Знал Егор и то, что Михаил не раз бывал в Севастополе и не раз говорил Асе: «Давай поженемся». И та вроде бы не отвечала «нет». А все что-то не клеилось, задерживалось. И в чем загвоздка, Егору было непонятно.

— Да мне и самому непонятно, — сказал как-то Михаил.

Разговор был такой подходящий по настроению, откровенный, и Егор спросил в упор:

— Может, не любит?

— Если бы так просто... Сразу бы тогда и сказала, она девочка решительная.

— А может, потому, что у нее образование, а ты университет не кончил?

— Подумаешь. Через два года кончу, я уже восстанавливаюсь...

— Или с юга ехать к нам не хочет?

— На Камчатку же поехала... Нет, тут другое...

Говорит: «Пусть Никитка подрастет, вместе с нами решит». А он при последней встрече и так за мной по пятам бегал: «Дядя Гай, дядя Гай...» Ей уж и Сергей говорил: «Ася, чего ты тянешь жилы и себе и ему?» Мне то есть... Серега Снежко, наш друг в Севастополе... Я тебе его не показывал?

Охая, Михаил сходил в комнату и вернулся с потертой папкой. Стал перебирать листки, конверты, карточки, достал крупный снимок. У школьного крыльца стояли трое — длинноногий, с побитыми коленками Гай, девочка в школьном платье, тоненькая, с очень светлыми прямыми волосами, и мальчишка с веселыми прищуренными глазами. Он твердо расставил прямые, как карандаши, ноги и держал на одном плече короткий пиджачок.

— Вот это и есть Сержик Снежко. Сейчас врач на рыболовной плавбазе. А это Ася, вот такая она была. Кстати, именно в этой школе сейчас работает, в своей...

— А это кто? — Егор взял из папки другой снимок. На нем был скуластый мальчишка с капризным ежиком волос.

— Юрий... Заместитель директора Южно-Весельского заповедника... Недавно два месяца в больнице отлежал.

— Бракoнъеры?

— Нет, директор и всякое высокое начальство.

Решили в заповеднике дачи разным чином строить, директор им спину лижет, а Юрка на дыбы... На него — анонимку: расхититель, покровитель браконьеров и взяточник. С большой головы... Довели человека... Но сейчас воюет опять. Хотя мог бы жить спокойно. Вот так, дружище...

— Не надо меня воспитывать, Гай,— сказал Егор, впервые, как бы между делами и неожиданно легко назвал он Михаила его давним именем. И тот не удивился.

— Я не воспитываю. Просто злость берет, сам бы этих гадов передавил... Сестрица говорит, что я экстремист.

— Вы пойдете ужинать или нет? — донесся голос сестрицы.

— Да подожди ты!.. А вот, Егор, смотри... Толик рисовал.

Михаил развернул желтый, свернутый вчетверо лист. С шероховатой бумаги смотрел ярко-голубыми глазами худой офицер. В старинном мундире, с якорями на большом стоячем воротнике. Портрет был нарисован цветными карандашами, явно мальчишечьей рукой, но хорошо, похоже на Крузенштерна из книжки.

— Тот самый портрет, для Курганова? А ты и не говорил, что он сохранился!

— Не успел...

— Ты вообще ничего этого мне раньше не показывал,— ревниво сказал Егор и кивнул на папку.

— Не все сразу, Егорушка. Хотел перед твоим отъездом... Ну ладно, раз уж так получилось... Портрет возьмишь с собой. Как-никак ты наследник...

Егор пересилил невольное смущение от «наследника».

— И стихи тут... Те, которые Курганов взял для эпиграфа?

— Да. Только здесь они неполные. Толик их потом дописал. Вот...— Михаил развернул небольшой листок.

Егор начал читать напечатанные на машинке строчки:

Когда Земля еще вся тайнами дышала...

Он знал эти стихи и раньше, Михаил написал их ему в подаренный блокнот. Уже при первом чтении строки эти перекликнулись у Егора с песнями: «Мы помнить будем путь в архипелаге»... «На рассвете взойдут острова»... «...Остались тайны только в глубине. Они — как клад, на острове зарытый»...

Последнее четверостишие на старом листке было написано от руки: бледными лиловыми чернилами, стальным пером с «нажимом» (такие теперь только на почте увидишь). Коряво-старательным почерком четвероклассника. И подпись стояла: Т. Нечаев. И дата: 16/VII — 48 г.

— Возьми себе и эту бумагу,— разрешил Михаил.— Это, можно сказать, автограф...

Егор замялся:

— Ты все мне отдаешь... Самому-то чего останется?

— Ну, у меня еще много чего! И прежде всего хронометр.

Да, хронометр... Егор не раз подходил к нему, слушал шелканье скрытого маятника, смотрел, как скачет по делениям живая стрелка секундомера. Трогал потертое дерево футляра...

Михаил рассказывал, что не раз хронометр чинили и регулировали. Приведут в порядок, и опять он отмеряет старательно и точно минуты, месяцы,

годы. Те, что идут, идут равномерно и неумолимо.

Был хронометр словно посредник между разными временами. Соединял сороковые годы мальчишки Толика Нечаева, шестидесятые — юнги Гая и нынешние... Чьи? Его, Егора?

Однажды поздно вечером украдкой от всех Егор в блокноте с «Крузенштерном» нарисовал что-то вроде схемы. Это был чертеж событий разных лет — от выхода «Надежды» и «Невы» с Кронштадтского рейда до... признаться, до того дня, когда Егор привел домой Михаила и нажал кнопку на «Плэйере»... Всех людей там обозначил Егор именами и звездочками: Крузенштерн, Резанов, Головачев, Толик, Курганов, Гай... Лишь для себя оставил на краю страницы пустое место и мысленно пометил его знаком вопроса: что он Егор Петров (или Нечаев?) значит в этой странной и долгой истории? В неоконченной... Слово Курганов продолжает писать свою книгу, и Егор — один из ее будущих героев.

Имена и разные значки прибавлялись. Вчера Егор, поразмыслив, вписал в схему Ревского и Наклонова. А сейчас подумал, что надо бы сделать еще один значок — севастопольские бастионы. Ведь хронометр связывает его, Егора, и со временем Крымской войны. Именно там кончается повесть «Острова в океане». И надо вписать этого капитан-лейтенанта... Как его фамилия-то? Ага, Алабышев!

— Гай, а с чего это Курганов сделал у книги такой конец? Про Севастополь?

— Ну, я же говорил. Наверно, хотел показать, что смерть бывает разная...

— Да, но откуда этот Алабышев-то взялся? Он же не плавал с Крузенштерном, там совсем другое время.

— У писателей это, кажется, называется «замкнутая композиция». Когда в начале и в конце книги появляется один и тот же герой, хотя в самой повести его нет.

— А... где он там в начале-то?

— Я разве не рассказывал? У Курганова было вступление. Там Крузенштерн, когда он уже директор Морского корпуса, застывает за маленького кадета резервной роты...

— За Егора?

— Вот именно... А потом, в эпилоге, этот воспитанник Крузенштерна спасает от смерти ребят. Все закономерно...

— «Все... кроме одного», — сбивчиво подумал Егор и почему-то смутно, на миг, вспомнил Веньку.

Когда Егор в классе слушал Наклонова, фамилия кадетика скользнула мимо сознания. Но теперь беспокойно, колюче зашевелилась в памяти: «А ведь, кажется, и правда — Алабышев... Разве бывают такие совпадения?.. Если исторические повести, то, наверно, бывают. Писатели разные, а пишут-то про одних и тех же людей. Из одних архивов для себя факты выбирают... Но...»

— Гай! Но ты же говорил, что Алабышева Курганов придумал! Помнишь, ты сказал: «Это, кажется, единственный вымышленный персонаж в его повести, но тоже очень важный...»?

— Егорушка! Это не я говорил, а Толик. Четырнадцать лет назад, когда пересказывал рукопись... Я-то что могу знать? Я повести в глаза не видел, помню только по его словам... А какая разница, придумал или нет? Разве так важно?

— Сейчас... — пробормотал Егор, морща лоб.

В блокнотной схеме он мысленно провел между именами Наклонова и Алабышева прямой пунктир и в середине его вписал жирный вопросительный знак. И когда старательно ставил под знаком точку, она как бы взорвалась тревожным зуммером — это здесь, в прихожей, длинно затрещал телефон.

Михаил, по-прежнему хватаясь за спину, заторопился к аппарату. Потом сказал разочарованно:

— Егор, это тебя...

Звонила мать. Она раздраженно спросила, до какой поры Егор будет болтаться неизвестно где. У отца такие неприятности, а сын веселится в гостях.

— Какие опять неприятности? — тоскливо сказал Егор. Думать о доме не хотелось.

— Большие. Таких еще не было... — Мать, кажется, всхлинула.

— Ну, а я-то при чем? — огрызнулся Егор. — Я чем могу ему помочь?

— Хотя бы тем, что будешь дома и не надо трепать из-за тебя нервы... Завтра с утра выезжай! Слышишь, Горик? — она всхлинула опять. — Я тебя очень прошу. Завтра с утра...

От телефона Егор отошел с упавшим настроением. Не из-за отцовских неприятностей, конечно. Эти дела были ему до лампочки, можно и не ехать. Мать покричит, поругается и отстанет. Но не завтра, так через пять дней возвращаться все равно придется. Все равно кончатся каникулы, которые провел Егор будто на крузенштерновской «Надежде»...

Михаил, узнав, о чем был разговор, осторожно заметил, что надо бы ехать. Михаила можно понять: ему неловко перед матерью Егора. Алина Михаевна небось думает, что он переманивает ее сына к себе, из родного дома!

А что делать в том доме, в том городе? Егор прикинул: ждет ли его там хоть что-то хорошее? И понял: одно только греет его — Венька.

У Веньки хорошо. Почти так же, как здесь. Та же доброта уютного обжитого дома. Можно так же сидеть и говорить не спеша. Можно будет наконец рассказать о Гае и Толике, о фильме. И обо всем, что с этим связано... И повод, чтобы к Ямщиковым зайти, есть: Ванюшкину одежду-то надо отнести. Обещал, что вернет через два дня, а застрял в Среднекамске на неделю.

Заглотишь ходил уже в своей одежде: кое-что Михаил и Галина купили ему в «Детском мире», спортивный костюм для дома взяли у девочек.

Сейчас Заглотишь в этом костюме строил на полу мост из «конструктора» над железной дорогой. Пускал по мосту автомобильчик, подаренный Ваней. Из прихожей было видно в открытую дверь, как он тихо и самозабвенно возится со своей техникой.

— Много ли человеку надо... — сказал Михаил.

— Ну и... как теперь с ним? — нерешительно спросил Егор.

— Пусть живет пока... Если мать не откликнется, поговорю с ближней школой, у меня там директор знакомый. Учебники у девочек возьмем...

— Навязал я тебе камень на шею... Я же не знал про Никитку...

— Да, ничего. Может, и к лучшему. А то свел бы его Мартышонок в какой-нибудь бункер...

— Куда?

— Ну... в тайную кают-компанию, вроде вашей «таверны». А там всякое. Глядишь, и к наркотикам приохотился бы...

— У нас ничего подобного не было! — взвинулся Егор. — Один раз два дурака попробовали, да и то им морды раскровянили и прогнали навсегда.

— А тебе... не предлагали попробовать?

— Предлагали, — сознался Егор. — Я и глотнул. Меня тут же всего наружу вывернуло. Я вообще таблетки не терплю.

Михаил с облегчением сказал:

— Вот и хорошо... Тебя отец спас, Толик...

— Почему?

— Наследственность, наверно. Он тоже никаких пилюль и порошков с детства не переносил. Бабушка рассказывала: как заболел — одно мучение...

— Видишь, где мучение, а где польза, — хмыкнул Егор.

— Ага... А кстати, Курбаши-то ваш все-таки за наркотики загремел. Сам не баловался, а сбытом занимался. Не в «таверне», конечно, он парень мозговитый...

— Откуда ты знаешь? — опешил Егор.

— Знаю... У меня в вашем городе кой-какие знакомства с оперативниками имеются, рассказали... Его дружки аптеку «взяли» с кучей таблеток. «Колеса» они называются по их терминологии. И в «гараж», то есть в специальный тайник, спрятали... Но за тем «гаражом» уже глаз был...

«Вот оно что! — ахнул про себя Егор. — А я-то думал про машину. Теленок...»

— В общем, вовремя ты прекратил отношения с этими джентльменами. Твою репутацию они бы не скрасили...

— Знал — и молчал, — беспомощно упрекнул Михаила Егор.

— Ага. А начни я разговор, ты опять решил бы, что я тебя воспитываю... Хотел перед отъездом расказать.

Егор помолчал и, меняя разговор, хмуро попрощался:

— Я позвоню Ямщикову, можно? Объясню, почему столько времени шмотки не возвращал...

Телефон Ямщиковых не отвечал. Даже гудков не было.

— Подожди немного. Может, просто линия загружена, — сказал Михаил. И вспомнил: — Кстати, наш номер с десятого января изменится. Запиши-ка сразу: пятьдесят семь, ноль два, двенадцать...

Егор вытащил дареную авторучку. Но блокнот был в комнате, а под рукой оказался только листок со стихами. Не отходя от телефона, Егор на обороте старого листа написал цифры. Уж эту-то бумагу он не потеряет...

Потом он опять позвонил Ямщиковым. Ответил Ваня. Скучным бесцветным голосом:

— Квартира Ямщиковых...

— Иван, это я, Егор.

— Ага...

— А Венька дома?

— Нет, конечно...

— А когда он придет?

Ваня молчал.

— Вань! Он когда придет домой?

— Ты разве ничего не знаешь? — слабо, сквозь электрический шорох, сказал Ваня. — Он в больнице. Его ножом ударили.

— Кто?!

— Копчик...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

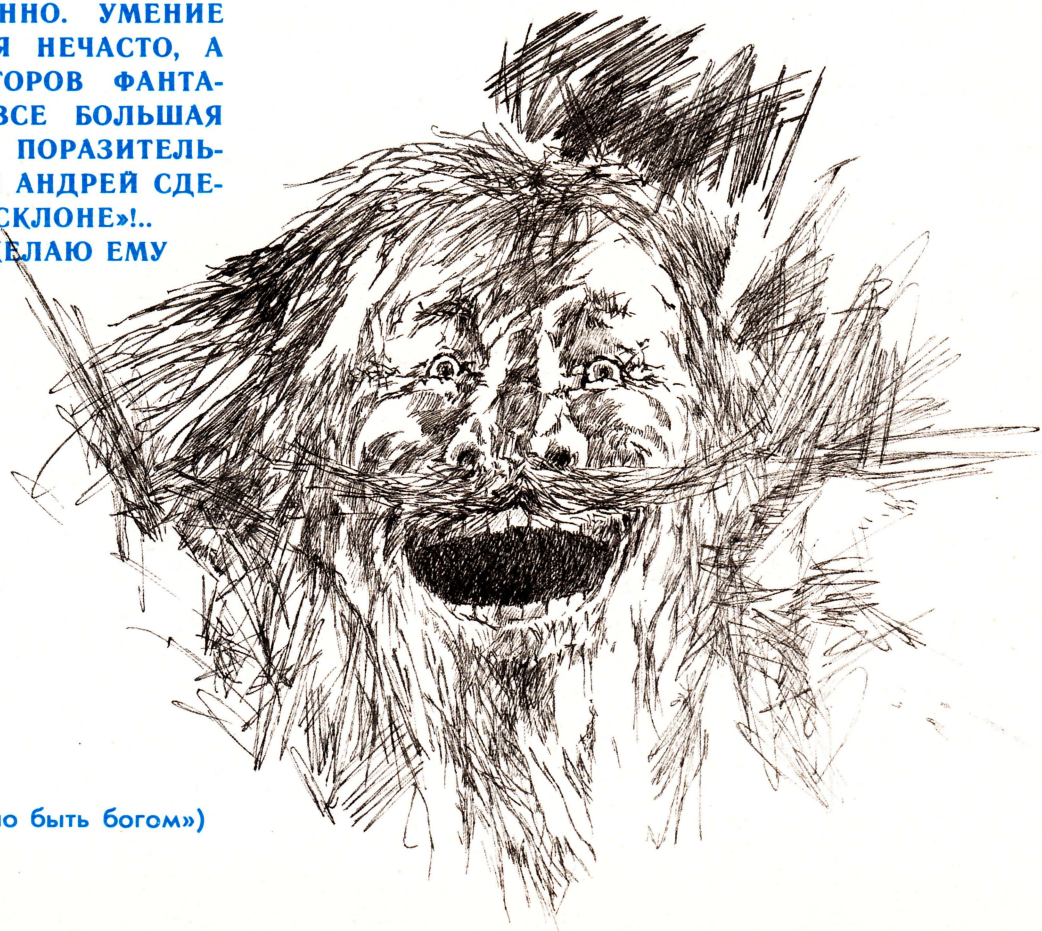
В ЛАПАХ ЗОНЫ
(«Пикник на обочине». А. Стругацкий, Б. Стругацкий)



НА МОЙ ВЗГЛЯД, АНДРЕЙ КАРАПЕТЯН — ИЛЛЮСТРАТОР ПРИРОЖДЕННЫЙ. ЕМУ ОТ БОГА ДАНО УМЕНИЕ КАКИМ-ТО ВОЛШЕБНЫМ ОБРАЗОМ УВИДЕТЬ МИР, СОЗДАННЫЙ ПИСАТЕЛЕМ, И ПОТОМ ПЕРЕНЕСТИ ЭТОТ МИР НА БУМАГУ ТАК, ЧТОБЫ ОН БЫЛ И УЗНАВАЕМ, И СВОЕОБРАЗЕН ОДНОВРЕМЕННО. УМЕНИЕ ТАКОЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ НЕЧАСТО, А СРЕДИ ИЛЛЮСТРАТОРОВ ФАНТАСТИКИ ОНО И ВО ВСЕ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ. А КАКИЕ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ АНДРЕЙ СДЕЛАЛ К «УЛИТКЕ НА СКЛОНЕ»!..

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ЕМУ УСПЕХОВ!

**БОРИС
СТРУГАЦКИЙ**

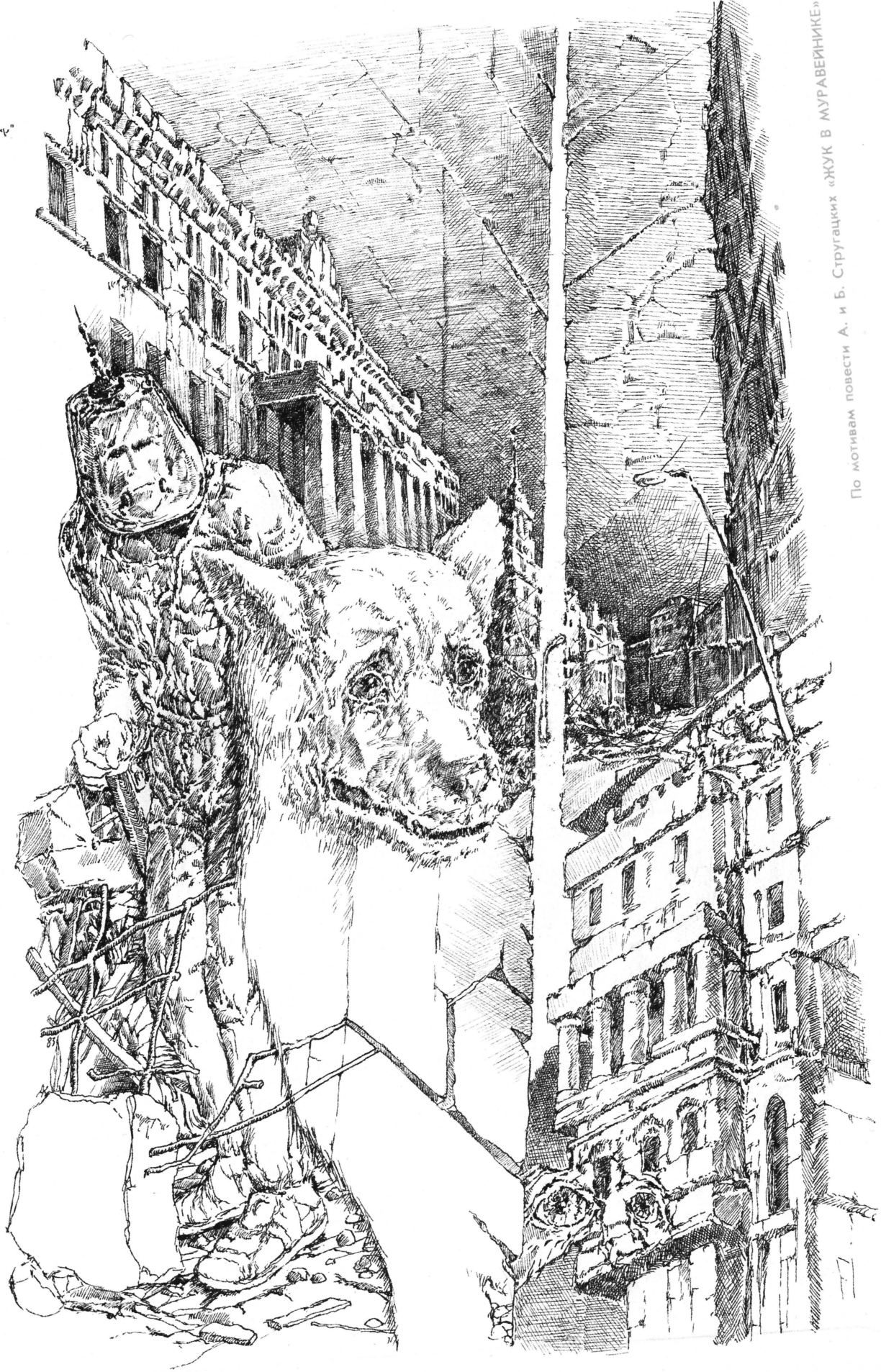


БАРОН ПАМПА («Трудно быть богом»)



«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ». А. Стругацкий, Б. Стругацкий

А. Спругацкий
Б. Спругацкий
Жук в муравейнике
Операция "Мертвый лес"



По мотивам повести А. и Б. Спругацких «Жук в муравейнике»

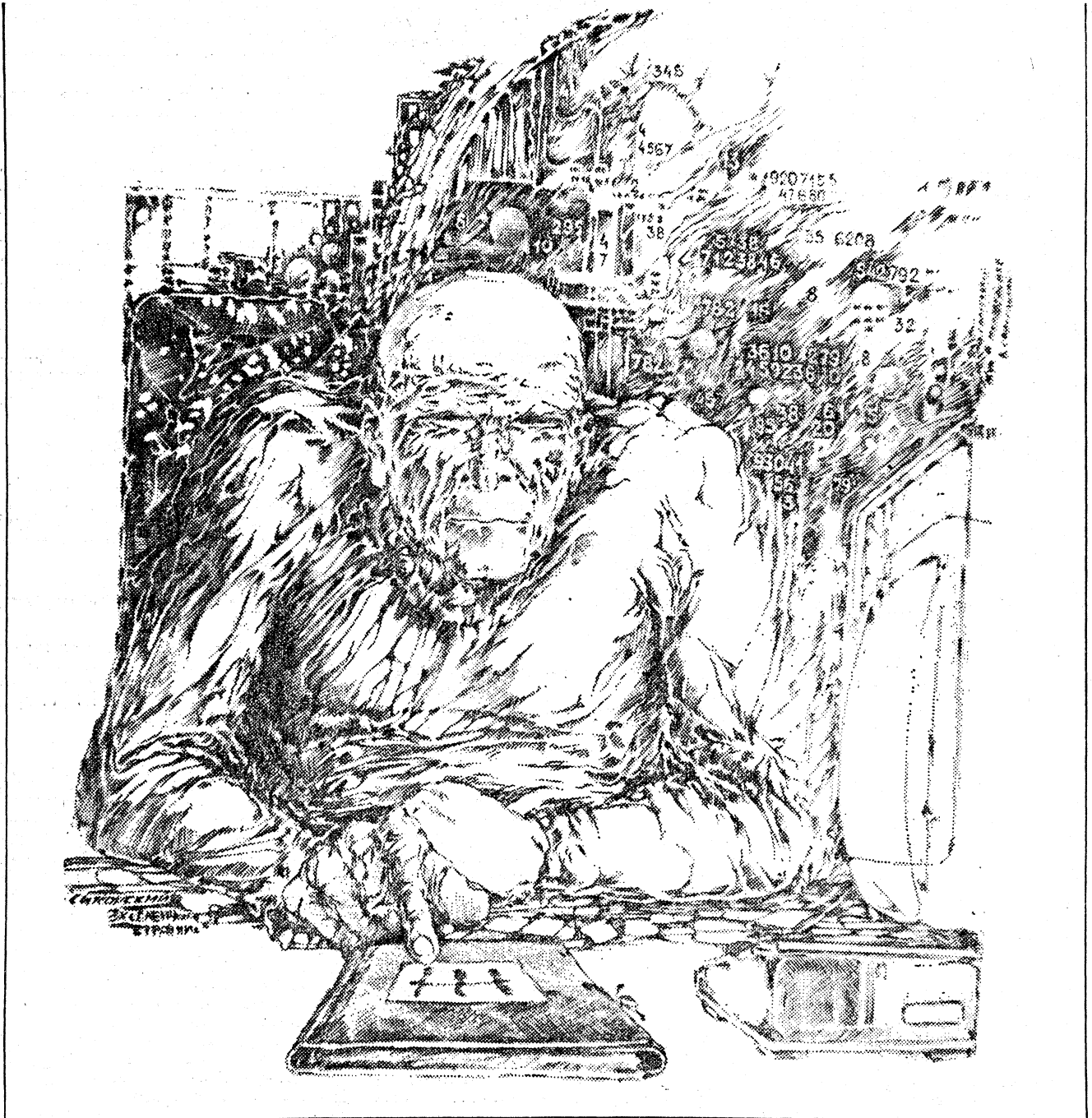
АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ, БОРИС СТРУГАЦКИЙ

ЖУК

СЦЕНАРИЙ
ТРЕХСЕРИЙНОГО
ФИЛЬМА



В МУРАВЕЙНИКЕ



Чужая планета среди звезд: огромный пятнистый красно-оранжевый серп, неподалеку — два серпа поменьше, луны этой планеты.

Серп стремительно надвигается, тьма застилает экран, и одновременно — механический, прерываемый помехами голос начинает монотонно читать текст радиограммы.

ПЛАНЕТА САРАКШ БАЗА ПРОГРЕССОРОВ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ ВЧЕРА ВЫЕЗДНОЙ ВРАЧ БАЗЫ ТРИСТАН ГУТЕНФЕЛЬД ВЫЛЕТЕЛ НА СВОЕМ БОТЕ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЛЬВА АБАЛКИНА ДЕЙСТВУЮЩЕГО В РОЛИ ШИФРОВАЛЬЩИКА АДМИРАЛТЕЙСТВА ОСТРОВНОЙ ИМПЕРИИ К НАЗНАЧЕННОМУ ВРЕМЕНИ НЕ ВЕРНУЛСЯ НА СВЯЗЬ НЕ ВЫХОДИЛ О ПРИБЫТИИ НА ТОЧКУ РАНДЕВУ НЕ ДОКЛАДЫВАЛ...

Ночь, проливной дождь. Панически мечутся лучи прожекторов, отвратительно воеет тревожная сирена. Вспышки выстрелов, треск автоматных очередей.

Грубо клепанный железный борт какого-то сооружения. Распахивается люк, из него выскакивает рослый человек в пятнистом комбинезоне, простоволосый, оскаленный от напряжения и ненависти. На плече у него висит безжизненное тело, облаченное в обтягивающий блестящий черный костюм.

Человек в комбинезоне огромными скачками несетя сквозь дождь, тьму и прожекторные сполохи. Под ногами у него бетонные плиты, проросшие на стыках мелкой травкой, вокруг угадываются безобразные военные сооружения — капониры, поворачивающиеся уши локаторов, сторожевые башни, с которых вспыхивают прожектора и выстрелы.

Человек в комбинезоне бежит к громадному грузовику с трейлером. На трейлере громоздится непривычного вида летательный аппарат, похожий на большое яйцо тупым концом вниз. Около трейлера — несколько охранников в мокрых плащах с капюшонами. Они стреляют из автоматов навстречу бегущему, но попасть в него невозможно: он передвигается с невероятной скоростью непредсказуемыми зигзагами, временами исчезая напрочь и вновь появляясь там, где никто не ожидает его увидеть.

Он набегает на охранников — неожиданно сбоку. Плотные мужики в плащах катятся по бетону, как пластмассовые кегли. Высоко в воздух взлетает, болтая оборванным ремнем, выбитый из рук автомат.

А человек в комбинезоне уже на трейлере. Он пытается раскрыть дверцу яйцеобразного аппарата. Дверца не открывается. Пули с визгом отлетают от матовой брони. Человек в комбинезоне хватая вялую руку мертвеца и прижимает мертвую ладонь к отпечатку пятерни рядом с дверцей, и тогда дверца распаивается.

Яйцеобразный аппарат абсолютно беззвучно

взмывает в мокрую тьму, сопровождаемый лучами прожекторов и трассами автоматных очередей.

...СЕГОДНЯ НА ЕГО БОТЕ НА БАЗУ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» ПРИБЫЛ ЛЕВ АБАЛКИН ПО ЕГО СЛОВАМ ТРИСТАН ГУТЕНФЕЛЬД ПРИ НЕИЗВЕСТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ БЫЛ СХВАЧЕН И УБИТ КОНТРАРАЗВЕДКОЙ ИМПЕРСКОГО АДМИРАЛТЕЙСТВА СПАСАЯ ТЕЛО ГУТЕНФЕЛЬДА ЛЕВ АБАЛКИН БЫЛ ВЫНУЖДЕН РАСКРЫТЬ СЕБЯ ПРИ ПРЫЖИВЕ ФИЗИЧЕСКИ НЕ ПОСТРАДАЛ ОДНАКО НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ ПСИХИЧЕСКОГО СПАЗМА ПО ЕГО НАСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОСЬБЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗЕМЛЮ РЕЙСОВЫМ ШЕСТЬСОТ ОДИННАДЦАТЬ...

Полюс чужой планеты. Ночь. Снежное безмолвие. Стремительно несутся по экрану очертания торосов, снежных дюн, ледяного крошева.

И вдруг небольшой город встает из снегов. Светятся круглые окна приземистых зданий, освечивает матовая броня яйцеобразных аппаратов, рядами стоящих на площади перед главным зданием. В отдалении — странные очертания массивных конусообразных сооружений. Это космические корабли. Они кажутся мохнатыми живыми существами. Они словно покрыты длинной черной шерстью, и по этой шерсти пульсациями идут волны — от вершины конуса к основанию.

Яйцеобразный аппарат садится перед главным входом, человек в комбинезоне с мертвым черным телом на руках тяжело спрыгивает в снег. Он входит в здание, навстречу ему из света бегут люди в легких ярких костюмах.

...ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕЛА ТРИСТАНА ГУТЕНФЕЛЬДА ПОКАЗАЛО ЧТО СМЕРТЬ НАСТУПИЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОБРАТИМОГО РАЗРУШЕНИЯ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЫЗВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕИЗВЕСТНОГО ТОКСИНА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НЕСОМНЕННЫМ ЧТО ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ТРИСТАН ГУТЕНФЕЛЬД БЫЛ ПОДВЕРГНУТ ЖЕСТОКИМ ПЫТКАМ...

Один из псевдоживых конусов-звездолетов наливаются вдруг красным светом, беззвучно поднимается над снежным полем, делается оранжевым, желтым... проходит через все цвета спектра до фиолетового, становится прозрачным — серп местной луны просвечивает сквозь него — и исчезает вовсе.

Голос Максима Каммерера:

— Экселенц вызвал меня к себе в полдень. Это был неожиданный вызов, и я сразу понял, что это неспроста. Он был озабочен и недоволен. Что-то произошло. Что-то чрезвычайное...

Максим вошел в кабинет Экселенца, и Экселенц, не поднимая на него глаз, неприветливо произнес:

— Садись.
Максим сел в кресло у стола напротив него.
— Надо найти одного человека,— сказал Экселенц и замолчал. Надолго. Максим подождал, потом спросил:

— Кого именно?

— Его зовут Лев Вячеславович Абалкин. Он прогрессор. Отбыл позавчера на Землю с полярной базы Саракша. На Земле не зарегистрировался. Надо его найти.

Он опять замолчал. Поднял, наконец, глаза. Уставился на Максима.

— Есть основания предполагать, что Лев Абалкин скрывается... Ты его найдешь и сообщишь мне. Никаких силовых контактов. Вообще никаких контактов. Найти, установить наблюдение и сообщить мне.

Максим кивнул. Но Экселенц смотрел на него так пристально, что Максим подобрался и повторил приказ:

— Я должен обнаружить его, взять под наблюдение и сообщить вам. Не попадаться ему на глаза, не пытаться его задержать и не вступать с ним ни в какие разговоры.

— Так,— сказал Экселенц.— Теперь следующее. Никто в КОМКОНе не знает, что я интересуюсь этим человеком. И никто не должен знать. Работать ты будешь один. Никаких помощников. Отчитываться будешь передо мной и только передо мной. Никаких исключений.

Несколько ошеломленный Максим спросил:

— Что значит — никаких исключений?

— Никаких — в данном случае означает просто: никаких. В ходе поиска тебе придется говорить со многими людьми. Каждый раз ты будешь пользоваться какой-нибудь легендой. О легендах изволь позаботиться сам. Без легенды будешь разговаривать только со мной. Только!

— Да, Экселенц,— сказал Максим смиренно.

— Далее,— продолжал Экселенц. Он полез в стол и извлек оттуда толстую папку.— Видимо, тебе придется начать с его связей. Все, что мы знаем о его связях, находится здесь.— Он постучал пальцем по папке.— Не слишком много, но для начала достаточно. Возьми.

Максим принял папку. На верхней корочке ее было вытиснено кармином: ЛЕВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АБАЛКИН. А ниже — цифры: 07.

— Послушайте, Экселенц,— сказал Максим.— А почему в таком древнем виде?

— Потому что в другом виде этих материалов нет,— холодно ответил Экселенц.— Кстати, никакого копирования не разрешаю. Еще вопросы есть?

— Сроки?

— Пять суток. Не больше.

— Могу я быть уверен, что он точно на Земле?

— Можешь.

Максим поднялся, чтобы идти, но Экселенц

(157) еще не отпустил его. Он смотрел на Максима снизу вверх и молчал. Потом сказал с нажимом:

— Я хочу, чтобы ты обязательно понял: это очень опасный объект. Ты никогда в жизни не имел дела с таким опасным. Постарайся мне поверить.

Максим криво улыбнулся.

— Запугивать извольте, шеф? — произнес он.

— Иди работай,— сказал Экселенц.

У себя в кабинете Максим уселся за стол и положил папку перед собой. Голос Максима:

— Так. Очень опасный объект. Лев Вячеславович Абалкин, прогрессор. Признаюсь совершенно откровенно: я не люблю прогрессоров. И никто их не любит. Почему, интересно? Потому что они опасны. Наверное, единственные опасные люди в нашем безопасном мире...

Он раскрыл папку. Первое, что он увидел,— радиограмма о чрезвычайном происшествии на Саракше.

...Значит, он был шифровальщиком имперского адмиралтейства. Я не знаю более омерзительного государства, чем Островная империя на планете Саракш... а имперское адмиралтейство, говорят, самое омерзительное учреждение в этом государстве. Наши бедные прогрессоры из кожи лезут вон, пытаюсь сделать эту клоаку хоть немного лучше, но клоака остается клоакой, а прогрессоры делаются хуже. Они становятся опасными... Прогрессор, работавший имперским шифровальщиком и оказавшийся на грани психического спазма,— да, пожалуй, это действительно опасно... Но не настолько же опасно, чтобы напугать Экселенца! Впервые в жизни я видел напуганного Экселенца...

Максим отложил радиограмму и принялся просматривать содержимое папки. Там были фотографии, психосоциометрические таблицы, копии медицинских и педагогических заключений, копии рабочих характеристик, отзывы, отчеты, рапорты. Он внимательно разглядывал фотографии, быстро пробежал глазами документы, а когда попадались твердые квадратики видеоклипов, то вставлял их в настольный проектор и просматривал отснятые кем-то видеозаписи,— иногда любительские, а иногда вполне профессиональные, сделанные скрытой камерой.

...Так. Это его последняя фотография. Прошлый год... Странно, знакомое лицо. Этого человека я уже где-то видел, только здесь он в форме имперского офицера... Любопытно, где я с ним мог встречаться...

...Так. Родился шестого октября тридцать восьмого. Воспитывался в двести сорок первой школе-интернате. Сыктывкар... Значит, здесь ему лет десять... (На фотографии длинноволосый, дочерна загорелый мальчик, стоит, положив руку на холку лосенку. Школьный сад. Жара. Такие же за-

горелые ребятишки в отдалении.) Учителем у него был Сергей Павлович Федосеев. Что ж, известный человек. Учитель у него был, прямо скажем, экстра-класс...

...Образование наш Абалкин получил в школе прогрессоров номер три. Европа. Одна из старейших школ прогрессоров. Знаменитая школа. Видимо, мальчик много обещал... Здесь он хорошо, ничего не скажешь! (На фотографии двадцатилетний Абалкин — в причудливом средневековом наряде — стоит с прямыми мечами в руках в странной позе, видимо, разыгрывает какой-то прогрессорский этюд. За столом справа несколько незнакомых землян внимательно наблюдают за ним.) А наставником в школе был у него, между прочим, сам Эрнст Юлий Горн. Лично! Ну и ну! Этот мальчик подавал очень большие надежды, с младых ногтей его ведут профессионалы высочайшего класса...

...Вот что интересно. И в интернате, и в школе прогрессоров профессиональные склонности: зоопсихология, театр, этнолингвистика. И соответственно профессиональные показания: зоопсихология, теоретическая ксенология. То есть парню с самого начала жизни хотелось заниматься животными, и был у него к этому талант. Как же случилось, что его определили в прогрессоры?..

...Позвольте, а это что такое? Это же голова! (На фотографии Лев Абалкин в походном комбинезоне «следопыта» на фоне оплетенных зеленью руин сидит на корточках рядом с огромной большеголовой пушистой собакой. У собаки такой вид, словно ей не нравится, что ее фотографируют.) Это наш Абалкин на планете Надежда, операция «Мертвый мир»... Я помню эту историю: впервые представитель разумных собак принимал участие в экспедиции землян на другую планету... и теперь я вспомнил, где я встречал этого Абалкина... Это было на Саракше за Голубой Змеей... Они прибыли туда изучать голованов: Комов, Раулингсон, Марта и этот угрюмый парнишка-практикант... У него было тогда очень бледное лицо и длинные прямые волосы, как у американского индейца... Я помню, все поразились, как голованы приняли его. Они его полюбили. Голованы любить не умеют, но этого парнишку они полюбили сразу... Тесен мир! Ладно, посмотрим, что с ним стало дальше...

...А дальше его отправляют работать по специальности на Гиганду. Первый опыт самостоятельного внедрения: псарь тамошнего маршала Нагон-Гига, потом егермейстер герцога Алайского... Так выглядят егермейстеры герцога Алайского... (На фотографии Лев Абалкин почти неузнаваем — нелепый балахон, огромный пегий парик с буклями до пупа и с какими-то торчащими перьями. На сворке у него причудливо изогнутые неправдоподобные борзые герцога Алайского, тучного мужика, который присутствует

158 тут же, с брезгливыми губами, в низко надвинутой на брови меховой шапке с ушами до земли.) Егермейстером он проработал два с половиной года, а потом его отправили на курсы переподготовки, и в конце семидесятого он оказался на Саракше, где и был внедрен. Замечательный послужной список: заключенный концентрационного лагеря (четыре месяца без связи), переводчик комендатуры концлагеря, солдат строительных частей, старший солдат Береговой охраны, переводчик штаба частей Береговой охраны, переводчик-шифровальщик флагмана второго подводного флота, шифровальщик имперского адмиралтейства... Вчуже страшно...

На дрянной древней фотографии зафиксирован момент попойки имперских офицеров: мундиры расстегнуты, волосы взлохмачены, морды красные, между ними какие-то полуголые оруды женского пола в аллегорических позах, бутылки, воздетые бокалы, дым коромыслом, и посреди всего этого Лев Абалкин в распахнутой сорочке, глаза бешеные, рот разинут не то в песне, не то в крике.

...А это что такое? Похоже на букву «Ж». Похоже также на японский иероглиф «сандзю», что означает число тридцать... Непонятно, что это и зачем сюда положено... Так. Теперь врачи. В интернате — Ядвига Михайловна Леканова... Ну, я уже устал удивляться. Конечно, у этого ребенка лечащим врачом мог быть только действительный член Всемирной академии... Спустилась с горных высот фундаментальной науки, дабы скромно обслуживать мальчишку из Сыктывкарского интерната... Правда, в школе прогрессоров за ним наблюдал Ромуальд Кресеску. Это имя я тоже слышал, но не более того... Впрочем, вполне возможно, что у них, прогрессоров, он тоже звезда первой величины. А вот погибший Тристан Гутенфельд — о нем я не слышал никогда и ничего. А между тем он вел Льва Абалкина последние двадцать два года, бессменно. Один. Он и только он. Что само по себе поразительно, если учесть, что Лев Абалкин мотался по всему космосу... Что-то вроде персонального врача... Здоровье нашего Льва Абалкина представляло такую общественную ценность, что к нему был приставлен персональный врач...

...Родители. Абалкина Стелла Владимировна, Цюрупа Вячеслав Борисович. Оказывается, он круглый сирота, ему года не было, как они погибли...

...Ну что же, Лев Абалкин, теперь я уже могу начинать искать тебя. Я знаю, кто твой учитель, я знаю, кто твой наставник, я знаю твоих наблюдающих врачей... А вот чего я не знаю, так это зачем Экселенцу понадобилось тебя искать. Ты, конечно, очень странный человек, Лев Абалкин, и может быть, все дело в том, что ты очень ценный человек, Лев Абалкин...

Стоп, стоп, стоп! Меня это совершенно не касается. Приказано искать — ищи. Почему он, вернувшись на Землю, не зарегистрировался, как все нормальные люди? Психический спазм. Отращивание к своему делу. Прогрессор на грани психического спазма возвращается на родную планету, где он не был по меньшей мере пятнадцать лет. Куда он пойдет? Родителей нет, значит, учитель? Или наставник? Это возможно. Это вполне вероятно. Поплакаться в жилетку. Причем скорее учитель, чем наставник. Ведь наставник как-никак твой коллега, а у тебя — отращивание к своему делу. Прежде всего обратимся к информаторию и поищем адреса...

...Федосеев Сергей Павлович. Живет и здравствует на берегу Аятского озера в своей усадьбе с предостерегающим названием «Комарики»... сейчас ему уже за сто... Мало того что он великий учитель, он еще, оказывается, и археолог. У него в «Комариках» личный музей по палеолиту Северного Урала... Что же, это будет у меня номер первый.

...Ах, черт побери, какая жалость! Эрнст Юлий Горн вне пределов досягаемости. Некая планета Лу, я даже никогда не слышал о такой. Ему сто шестнадцать лет, а он продолжает работать. И никакие спазмы его не берут. Впрочем, если очень понадобится, доберемся и до планеты Лу.

...А вот до Ромуальда Кресеску я уже не доберусь никогда. В семьдесят втором году погиб на Венере при восхождении на пик Строгова. Значит, остается Ядвига Михайловна Леканова... Сейчас она, оказывается, работает в передвижном институте земной этнологии в бассейне Амазонки. Адреса нет, желающие могут установить с нею связь через стационар в Манаосе. Что ж, и на том спасибо... хотя сомнительно, конечно, чтобы мой клиент в своем нынешнем состоянии потащился плакать в жилетку к своему детскому врачу, да еще в эти первобытные дебри...

...Да. Вот еще шанс. Голованы. Голованы любили Льва Абалкина, и Лев Абалкин любил голованов. У него был друг — голован Щекн-Итрч. Они вместе работали на планете Надежда. Они вообще вместе работали до тех пор, пока умные дяди не определили прирожденному зоопсихологу Льва Абалкина прогрессором на Гиганду... На Земле есть постоянная миссия голованов, где-то в Канаде. Надобно иметь это в виду. Но начинать следует с учителя...

Максим Каммерер вышел из здания КОМКОНа и по бульвару Красных Кленов направился к ближайшей будке нуль-транспортировки. К будке стояла небольшая очередь, человек пять. Последним стоял долговязый юноша с диковинным котом на плече.

Очередь двигалась быстро. Над входом загорался зеленый плафон, человек входил, зеленый свет сменялся красным, потом желтым и снова зеленым. Максим был уже вторым, когда к будке прямо сквозь кусты сирени продрался какой-то запыхавшийся, потный человек с роскошными бакенбардами и, прижимая к груди короткопалые ладони, умоляюще проговорил по-русски с сильным акцентом:

— Очень прошу! Страшная срочность! Судьба!

Его, улыбаясь, пропустили, и он исчез за дверью будки.

Потом настала очередь Максима. Он вошел, закрыл за собой дверь, набрал на клавишном пульте девятизначный код, вспыхнула лиловая лампа у него над головой, зажглись зеленые огни на двери, и Максим вышел в шумящий сосновый бор. От площадки, где стояла будка, разбежались тропинки и дороги с указателями. Максим нашел глазами указатель «Комарики» и двинулся по песчаной, усыпанной хвоей дорожке между соснами.

Усадьба «Комарики» стояла на высоком обрыве над самой водой, открытая всем ветрам. Хозяин встретил Максима без особой радости, но достаточно приветливо. Они расположились на веранде у овального антикварного столика, на который поставлены были: туюсок со свежей малиной, кувшин молока и несколько стаканов.

— По профессии я зоопсихолог, — сказал Максим, накладывая себе малины, — но сейчас выступаю в качестве писателя или, точнее сказать, журналиста. Я собираю материал для книги. Я хочу написать о контактах человека с голованами. Вы, Сергей Павлович, конечно, знаете, что в этих контактах ученик ваш Лев Абалкин сыграл весьма заметную роль... Я, видите ли, и сам был с ним знаком когда-то, но с тех пор все связи утратил и сейчас всячески пытаюсь его разыскать, да все без толку. На Земле его сейчас нет, когда вернется — неизвестно... А я, знаете ли, хотел бы как можно больше выяснить насчет его детства, как у него все это начиналось, почему так, а не иначе... Движение психологии исследователя — вот что меня интересует в первую очередь. К сожалению, наставника его уже нет в живых, друзей его я не знаю совсем, но зато, к счастью, имею возможность (Максим слегка поклонился) побеседовать с вами, его учителем. Я лично убежден, что в человеке все начинается с детства, причем с самого раннего детства... Как вы полагаете?

Старик довольно долго молчал с лицом совершенно неподвижным. А потом вдруг спросил: — Кто, собственно, такие — эти голованы? Максим удивился.

— Ну как же... Голованы — это разумная киноидная раса, возникшая на планете Саракш в результате лучевых мутаций...

— Киноиды? То есть собаки?

— Да. Разумные собакообразные. У них, знаете ли, огромные головы. Отсюда — голованы...

— Значит, Лева занимается собакообразными... Добился все-таки своего...

— Видите ли, — возразил Максим. — Я совсем не знаю, чем занимается Лева сейчас, однако двадцать лет назад он голованами занимался — и с большим успехом...

— Он всегда любил животных, — сказал старик. — И более того, животные любили его. Я был убежден, что ему следует стать зоопсихологом. Когда по распределению направили его в школу прогрессоров, я протестовал как мог, я говорил, что это ошибка, но меня не послушались... Вернее, сделали вид, что послушались, а на самом деле... Впрочем, там все было сложнее. Может быть, если бы я не стал протестовать... — Он оборвал себя и налил гостю стакан молока. — Так что бы вы хотели узнать от меня конкретно? — спросил он.

— Все! — ответил Максим быстро. — Каким он был. Чем увлекался. С кем дружил. Чем славился в школе... Все, что вам запомнилось.

— Хорошо, — сказал старик без всякого энтузиазма. — Я попробую.

Он откинулся на спинку плетеного кресла и стал говорить, глядя мимо Максима.

— Это был мальчик замкнутый. С самого раннего детства. Он ведь был сирота, вы знаете... Замкнутость его была первая черта, которая бросалась в глаза. Но замкнутость эта не была следствием чувства неполноценности, ущербности или неуверенности в себе. Это была, если хотите, замкнутость всегда занятого человека. Как будто он не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно занят собственным миром. Мир этот, казалось, состоял из него самого и всего живого вокруг, но за исключением людей... Кстати, это не такое уж и редкое явление. Просто он был ТАЛАНТЛИВ в этом. А удивляло в нем как раз другое. При всей своей замкнутости он охотно и прямо-таки с наслаждением выступал на всякого рода соревнованиях и в школьном театре. Особенно в театре. Правда, всегда соло. В пьесах участвовать он отказывался категорически. Обычно он декламировал, даже пел, с огромным вдохновением, с блеском в глазах, он словно раскрывался на сцене, а потом, сойдя в партер, снова становился уклончивым, молчаливым, неприступным... Я так и не сумел толком разобраться, откуда в нем это. Предполагаю только, что его талант общения с живой природой был настолько сильнее всех остальных движений его души, что окружающие ребята, и учителя, и вообще все люди были ему просто неинтересны. А может быть, все было гораздо сложнее. Может быть, эта замкнутость, эта самопогруженность появились как следствие тысячи микроскопических событий, которые остались за преде-

лами моего поля зрения. Я вспоминаю одну любопытную сцену... Был проливной дождь, а потом Лева ходил по дорожкам парка, собирал червяков-выползков и бросал их обратно в траву. Ребятам это показалось смешным, а среди них были и такие, кто умел не только смеяться, но и жестоко высмеивать... Разумеется, я, не говоря ни слова, присоединился к Лева и стал собирать выползков вместе с ним... И вдруг я почувствовал, меня словно по глазам хлестнуло: он мне не верит. Не верит он тому, что судьба червяков на самом деле меня заинтересовала. У него было еще одно заметное качество: абсолютная честность. Не помню ни одного случая, чтобы он соврал. Даже в том возрасте, когда дети врут охотно и бессмысленно, получая от этого чистое и бескорыстное удовольствие. А он — не врал. И он презирал тех, кто врет... Иногда казалось мне, что в его жизни был какой-то случай, когда он впервые с ужасом и отвращением понял, что люди способны говорить неправду. А я этот момент пропустил... Впрочем, вряд ли все это вам нужно. Вам ведь интереснее узнать, как проклевался в нем будущий зоопсихолог...

— Не только это! — возразил Максим. — Мне все очень интересно... Что же получается: друзей у него, значит, было совсем немного?

— Друзей у него не было вовсе. У него не было друзей. Много лет спустя другие ребята из его группы говорили мне, что он с ними тоже не встречается. Им было неловко рассказывать, но, как я понял, он попросту уклонялся от таких встреч...

И вдруг его прорвало.

— Ну почему вас интересует именно Лев? Я выпустил в свет сто семьдесят два человека! Почему вам из них понадобился именно Лев? Поймите, я не считаю его своим учеником! Не имею права считать! Это моя неудача! Единственная моя неудача! Десять лет подряд я пытался установить с ним контакт, хотя бы тоненькую ниточку протянуть между нами... Я выворачивался наизнанку ради него, но все, буквально все, что я предпринимал, оборачивалось во зло...

— Сергей Павлович! — воскликнул Максим. — Что вы говорите? Из Абалкина получился великолепный специалист, ученый самого первого класса! Его работа с голованами...

— У меня прекрасная малина, — сказал старик. — Самая крупная малина в регионе. Отдайте еще, прошу вас.

Максим осекся и принял блюдце с малиной, а старик проговорил с горечью:

— Голованы... Возможно, возможно. Однако я и сам знаю, что он талантлив. Только вот моей-то заслуги никакой в этом нет...

Наступила неловкая пауза. Максим бросил в рот несколько ягод и сказал:

— Как жалко, что у него не было друзей. Я очень рассчитывал встретиться хоть с одним его другом...

— Если хотите, я могу назвать вам его одно-классников.— Старик помолчал и вдруг сказал: — Вот что. Попробуйте отыскать Майю Глумову.

Совершенно невозможно было представить, что именно он сейчас вспомнил, какие ассоциации возникли у него в связи с этим именем, но наверняка — самые неприятные. Он даже весь пошел бурными пятнами.

— Школьная его подруга? — спросил Максим, чтобы скрыть неловкость.

— Нет, — сказал старик. — То есть она, конечно, училась в нашей школе... Майя Глумова. Потом она стала историком.

У себя в кабинете Максим набрал серию кодов на пульте связи, и на экране появилось полное миловидное лицо знаменитого педиатра и социопсихолога, академика Ядвиги Михайловны Лекановой.

— Ядвига Михайловна, — сказал Максим, — извините, ради бога, что я отрываю вас от работы. Меня зовут Максим Каммерер, я журналист, пишу книгу о вашем бывшем пациенте, о Льве Вячеславовиче Абалкине. Я надеялся, что, может быть, вы что-нибудь расскажете мне...

Ядвига Михайловна прищурилась, вспоминая, и сдвинула соболиные брови.

— Лев Абалкин?.. Лева Абалкин... Простите, как вы себя назвали?

— Максим Каммерер.

— Простите, Максим, я не совсем поняла. Вы выступаете от себя лично или как представитель какой-то организации?

— Да как вам сказать... Я, разумеется, договорился с издательством, они там заинтересовались...

— Но вы-то сами — просто журналист или все-таки работаете где-нибудь? Не бывает же такой должности — журналист...

Максим почтительно хихикнул, лихорадочно соображая, как быть.

— Видите ли, Ядвига Михайловна, это довольно трудно сформулировать... Основная профессия у меня... Ну, пожалуй, прогрессор... Хотя, когда я начинал работать, такого термина вообще еще не существовало. В недалеком прошлом я — сотрудник КОМКОНа... да и сейчас связан с ним в известном смысле...

— Ушли на вольные хлеба, — сказала Ядвига Михайловна. Она по-прежнему улыбалась, но теперь в ее улыбке не хватало кое-чего очень важного и в то же время весьма обычного — самой обыкновенной доброжелательности.

— Вы знаете, Максим, — сказала она, — я с удовольствием поговорю с вами о Лева Абалкине, но, с вашего позволения, через некото-

рое время. Давайте, я вам позвоню... скажем, через час-полтора.

— Ну разумеется, — сказал Максим. — Как вам будет удобно...

— Извините меня, пожалуйста.

— Напротив, это вы должны меня извинить...

Изображение на экране исчезло. Максим рассеянно перебрал несколько листков в папке, лежащей перед ним на столе.

— Надо же, какой странный получился разговор, — подумал он вслух. — Она словно узнала откуда-то, что я все ей вру... Пр-рокая про-фессия... Ладно, подождем... А пока поищем Майю Глумову.

Он вызвал информаторий.

...Так. Майя Тойвовна Глумова. Ага... Она на три года моложе нашего Льва... Историческое отделение Сорбонны.. Ранняя эпоха первой научно-технической революции... потом — история космических исследований. Сын, Тойво Глумов, одиннадцати лет... А вот о муже она никаких сведений не дала... О чудо! Ныне она у нас сотрудник спецфонда Музея веземных культур... это же в трех кварталах отсюда, на Площади Звезды!.. И живет неподалеку...

Максим отключил информаторий, откинулся на спинку стула и с удовлетворением потянулся.

Тут в дверь постучали, и через порог шагнул в кабинет Экселенц. Максим поднялся.

— Сядь, — строго сказал Экселенц и сам опустился в кресло для посетителей. Максим поспешно сел. — Дай сюда план работы.

Максим протянул ему листок, Экселенц быстро проглядел текст и сказал:

— Плохо.

— Так уж и плохо, Экселенц...

— Плохо! Наставник умер. А школьные друзья? У тебя их нет ни одного. А где его одноклассники по школе прогрессоров?

— К сожалению, Экселенц, у него, по-видимому, не было друзей. Во всяком случае — в интернете. А что касается школы прогрессоров...

— Уволь меня от этих рассуждений. Мне не нравится, что ты отвлекаешься. При чем здесь детский врач, например?

— Я стараюсь проверить все.

— У тебя нет времени проверять все. Занимайся архивами, а не беготней...

— Архивами я тоже займусь, — сказал Максим, начиная злиться, — однако побегать мне все равно придется. И я вовсе не считаю, что детский врач — такая уж пустая трата времени.

— Помолчи, — сказал Экселенц и снова углубился в изучение плана. — Кто такая эта Глумова? — спросил он.

— Они вместе учились в интернате. Мне кажется, это у него была детская любовь или что-то в этом роде...

— Ну ладно... — проворчал Экселенц, возвращая листок. — Глумова — это хорошо. Если это

была детская любовь, то это шанс... И легенда твоя мне нравится. А все остальное — плохо. Ты поверил, что у него не было друзей. Это неверно. Тристан был его другом, хотя ни в каких папках ты не найдешь об этом ни слова. И никто, кроме меня, тебе об этом не рассказал бы. Ищи! Никому не верь на слово, ищи! А Леканову оставь в покое. Это тебе не нужно.

— Но она же все равно мне позвонит!

— Не позвонит,— произнес Экселенц холодно.

Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Потом Максим проговорил:

— Экселенц. А вам не кажется, что я работал бы гораздо успешнее, если бы знал всю подоплеку?

Экселенц ответил не сразу.

— Не знаю. Полагаю, что нет. Все равно я пока не могу ничего сказать тебе. Да и не хочу.

— Тайна личности? — спросил Максим.

— Да,— сказал Экселенц.— Тайна личности.

Максим шел по залам Музея веземных культур мимо странных его экспонатов, похожих не то на абстрактные скульптуры, не то на материализовавшийся бред сумасшедшего эволюциониста. В залах было пусто, только один раз вышел он на двух молоденьких девчушек, которые с молекулярными паяльниками в руках возились в недрах некоего сооружения, более всего напоминающего гигантский моток колючей проволоки. Он попросил у них указаний и вскоре оказался перед дверью с табличкой: «Сектор предметов невыясненного назначения. Кабинет-мастерская. Глумова М. Т.».

Майя Тойвовна подняла навстречу ему лицо. Красивая, более того — очень милая женщина, она глядела на него рассеянно, и даже не на него, а как бы сквозь него, глядела и молчала. На столе перед нею было пусто, только обе руки ее лежали на столе, как будто она их положила перед собой и забыла о них.

— Прошу прощения,— сказал Максим.— Меня зовут Максим Каммерер.

— Да. Слушаю вас.

Это была неправда: не слушала она его. Не слышала она его и не видела. Ей было явно не до него в тот час. Любой приличный человек в такой ситуации должен был бы извиниться и потихоньку уйти. Однако Максим не мог себе этого позволить. Он был помощником Экселенца на работе. Поэтому он уселся в первое попавшееся кресло и, изобразив на лице простодушную приветливость, принялся говорить:

— Вы знаете, у меня к вам дело не совсем обычное, я пришел к вам, так сказать, искать ваших воспоминаний... причем детских воспоминаний, совсем, так сказать, давних... Я, собст-

венно, журналист, и пишу книгу о человеке по имени Лев Абалкин...

И тут произошла удивительная вещь. Едва это имя было произнесено, как Майя Тойвовна словно бы проснулась. Вся рассеянность ее исчезла, она вспыхнула и буквально впилась в журналиста Каммерера серыми глазами.

— ...А, я вижу, вы его помните! — продолжал добродушный и толстокожий журналист Каммерер.— Это славно, это здорово, это рождает во мне большие надежды. Я слышал, что вы дружили слевой, и теперь я вижу, что вы не забыли этой дружбы... Да и как можно забыть Леву? Это же такой замечательный парень...

— Вы его тоже знали? — спросила Глумова.

— А как же! Потому и дерзаю! Я же был, если хотите, у самых истоков. Саракш! Голубая Змея!.. На самом-то деле никакая она не голубая, она грязно-желтая и заражена радиоактивностью на двести лет вперед... а по берегам бродят грозные и таинственные головы, о которых тогда еще никто ничего толком не знал. И тут появляется Лева...

— И вы об этом хотите написать?

— Разумеется! — сказал Максим.— Но этого мало.

— Мало — для чего? — спросила она, и на лице у нее появилось странное выражение — словно она с трудом сдерживает смех. У нее даже глаза заблестели.

— Понимаете,— сказал Максим,— мне хочется взять гораздо шире. Мне хочется показать становление Абалкина как крупнейшего специалиста в своей области. Ведь на стыке зоопсихологии и социопсихологии он произвел что-то вроде...

— Но он же не стал специалистом в своей области,— проговорила Майя Глумова.— Ведь они же сделали его прогрессором. Они же его... Они...

Не смех она, оказывается, сдерживала, а слезы, и теперь перестала сдерживать — упала лицом в ладони и разрыдалась. Она плакала, она судорожно вздыхала, всхлипывала, слезы протекали у нее между пальцами и капали на стол, а потом вдруг принялась говорить — будто думала вслух, перебивая самое себя, без всякого порядка и безо всякой видимой цели.

— ...Он лупил меня... Ого, еще как!.. Стоило мне поднять хвост, и он выдавал мне по первое число... Плевать ему было, что я девчонка и младше его на три года: я принадлежала ему — и точка!.. Я была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в первый день, когда он увидел меня... мне было тогда пять лет, а ему восемь. Он бегал кругами и выкрикивал считалку собственного сочинения: «Стояли звери — около двери — в них стреляли — они умирали!» Десять раз, двадцать раз

подряд... Мне стало смешно, я захихикала, и вот тогда он выдал мне впервые...

...Вы не понимаете, как это было прекрасно — быть его вещью. Потому что он любил меня. Он больше никого и никогда не любил. Только меня! Все остальные были ему безразличны. Они ничего не понимали и не умели понять. Только я умела. Он выходил на сцену, пел песни, читал стихи — для меня. Он так и говорил: «Это для тебя. Тебе понравилось?» И прыгал в высоту — для меня. И нырял на сорок два метра — для меня. И писал ритмическую прозу по ночам — тоже для меня. О-о-о, он очень ценил меня, свою собственную вещь, и он все время стремился быть достойным такой ценной вещи. И никто ничего об этом не знал. Он всегда умел сделать так, чтобы никто ничего о нем не знал. До самого последнего года, когда об этом узнал Федосеев, его учитель...

...У него было еще много собственных вещей. Весь лес вокруг был очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны муравейников, он умел лечить оленей, и все они были его собственными. Кроме старого лося по имени Рекс. Этого он признал равным себе, но потом с ним поссорился и прогнал из леса...

...Дура, дура! Все было так хорошо, но я-то, дура, не понимала, что все хорошо, я подросла и вздумала освободиться. Я прямо ему объявила, что не желаю больше быть его вещью. Он отлупил меня, но я была упрямая, я стояла на своем, проклятая дура. Тогда он снова отлупил меня, по-настоящему, беспощадно, как он лупил своих волков, когда они пытались вырваться из повиновения. Но я-то была не волк, я была упрямее всех его волков вместе взятых, и тогда он выхватил из-за пояса свой нож... у него был нож, никто не знал, он нашел кость в лесу и сам выточил из нее нож... И вот этим ножом он с бешеной улыбкой медленно и страшно вспорол себе руку от кисти до локтя. Стоял передо мной с бешеной улыбкой, кровь хлестала у него из руки, как вода из крана, и он спросил: «А теперь?» Он еще не успел повалиться, как я поняла, что он прав. И был прав всегда, с самого начала. Только я, дура, дура, дура, так и не захотела признать это.

...А в последний его год, когда я вернулась с каникул, ничего уже не было. Что-то произошло. Наверное, они уже взяли его в свои руки. Или узнали обо всем и, конечно же, ужаснулись неизвестно чему, идиоты, проклятые заботливые кретины... Он посмотрел сквозь меня и отвернулся. Я перестала существовать для него. В точности, как и все остальные. Он утратил свою ценную вещь и примирился с потерей... А когда он снова вспомнил обо мне, все уже было по-другому. Жизнь уже навсегда перестала быть та-

(31) инственным лесом, где он был владыкой, а я — самым ценным, что у него было в этом лесу. Они уже начали превращать его, он уже был почти прогрессор, он уже был на полпути в другой мир, где предают и мучают друг друга. И видно было, что он стоит на этом пути твердой ногой, он оказался хорошим учеником, старательным и способным... Он писал мне, я не откликалась. Ему надо было не писать и не звать, а приехать самому и отлупить, как встарь, и тогда все, может быть, и стало бы по-прежнему. Но скорее всего — нет. Ведь он уже больше не был владыкой. Он стал всего лишь мужчиной, каких было много вокруг... И он перестал мне писать...

...Последнее письмо его... Представляете, он всегда писал только от руки, никаких кристаллов, никаких транскрипторов, только от руки... Последнее письмо он прислал мне как раз оттуда, с вашей Голубой Змеи. И знаете, что он там написал? «Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали». И больше ничего. Ни одного слова. Ни имени, ни подписи...

...Но все равно я ждала его. Вчера он объявился, и я сразу поняла: все двадцать лет я ждала этого дня... Дура несчастная, чего я дождалась!..

Она вдруг замолчала и, словно очнувшись, уставилась на Максима. Глаза у нее были сухие и блестящие, совсем большие глаза.

— Кто вы такой? — спросила она.

— Меня зовут Максим Каммерер, — ответил журналист Каммерер, всем видом своим изображая крайнюю растерянность. — Я в некотором роде писатель... но ради бога... Я, видимо, попал не вовремя... Понимаете, я собираю материалы для книги о Льве Абалкине...

— Что он здесь делает?

— В каком смысле?

— У него здесь задание?

Журналист Каммерер обалдел.

— З-задание? Какое задание?.. Майя Тойвова, ради бога, не подумайте только... Считайте, что я ничего здесь не слышал... Я уже все забыл... Меня здесь вообще не было... Видите ли, у меня такая манера работы. Я начинаю с периферии: сотрудники, друзья... учителя, разумеется... наставники... а потом уже, так сказать, во всеоружии приступаю к главному объекту моего исследования... У нас с вами получилось какое-то ужасное совпадение, и не более того... Я же не слепой, я же вижу...

— Да, — сказала она. — Это совпадение.

Она откинулась в кресло и прикрыла лицо ладонью. Ей было нехорошо. Ей было стыдно.

— Совпадение и более ничего... — бормотал журналист Каммерер. — И забудем... Ничего не было... Потом, когда-нибудь... когда вам будет удобно... угодно... я бы с величайшей благодар-



ностью, разумеется... Майя Тойвовна, может, позвать кого-нибудь? Я мигом...

Она молчала.

— Ну и не надо, ну и правильно... Зачем? Я посижу здесь с вами... на всякий случай...

Она отняла руку от глаз и устало сказала:

— Не надо вам со мной сидеть. Ступайте лучше к своему главному объекту...

— Нет-нет-нет! Успею. Объект, знаете ли, объектом, а я бы не хотел оставлять вас сейчас одну... Времени у меня сколько угодно...— Он посмотрел на часы с некоторой тревогой.— А где он сейчас?

— Думаю, он сейчас у себя,— проговорила Майя Глумова, кривовато усмехнувшись.— Курорт «Осинушка». Это на Валдае, на озере Велье. Всего доброго.

— М-м-м!— очень громко произнес журналист Каммерер.— Озеро Велье... озеро Велье... Я как-то все это совсем по-другому себе представлял. Я еще раз прошу извинить меня, Майя Тойвовна, но, может быть, с ним можно как-то связаться отсюда?..

— Наверное, можно,— сказала Майя Тойвовна совсем уже угасшим голосом.— Но я не знаю его номера... и знать не хочу... Послушайте, Каммерер, дайте вы мне остаться одной! Все равно вам сейчас от меня никакого толку...

По тропинке между пышными кустами сирени Максим приблизился к уютному коттеджу, поднялся на крылечко к двери с большой цифрой «6» и постучал. Как он и ожидал, дверь заперта не была. В маленьком холле было пусто, на низком столике под газосветной лампой важно кивал головой игрушечный медвежонок панда.

На кухне мойка была забита грязными тарелками, окно Линии доставки было открыто, и в приемной камере красовался не востребованный пакет с гроздьё бананов. В гостиной было и того хуже. Весь пол был усеян клочьями рваной бумаги. Широкая кушетка разорена, цветастые подушки валялись где попало, кресло у стола было опрокинуто, на столе в беспорядке располагались блюда с подсохшей едой, грязные тарелки, бокалы, среди всего этого торчала початая бутылка вина. Оконная портьера была содрана и висела на последних нитках.

Мятая бумага валялась не только на полу, и не вся она была мятая. Несколько листов белели на кушетке, рваные клочки попали в блюдо с едой, и вообще блюда и тарелки были несколько сдвинуты в сторону, а на освобожденном пространстве имелась целая кипа бумажных листов.

Максим поднял поваленное кресло и уселся в него, собрав разбросанные листки в одну пачку.

Все это выглядело довольно странно: кто-то быстро и уверенно нарисовал на листках какие-то детские лица, каких-то явно земных зверушек, какие-то строения, пейзажи, даже просто облака. Было среди листков несколько схем или как бы кроков — рощицы, ручьи, болота, перекрестки, и тут же — среди топографических знаков — крошечные человеческие фигурки, сидящие, лежащие, бегущие, и крошечные изображения животных, не то оленей, не то лосей, не то волков, не то собак, и почему-то некоторые из этих фигурок были перечеркнуты. На одном из листочков Максим обнаружил превосходный портрет Майи Глумовой с неуместным выражением то ли растерянности, то ли недоумения на улыбающемся и в общем-то веселом лице. И был там еще шарж на Сергея Павловича Федосеева, причем мастерский — именно таким был, вероятно, Федосеев четверть века назад...

Максим отложил бумаги и вновь оглядел гостиную — захлавленную, неприбранную, загаженную, поднял с пола и взвесил на ладони остатки янтарного ожерелья... Делать здесь было больше нечего.

Когда Максим кончил свой доклад в кабинете Экселенца, тот, не поднимая глаз, сказал угрюмо:

— С Глумовой у тебя почти ничего не получилось.

— Меня связывала легенда,— сухо сказал Максим.

— Что думаешь делать дальше?

— По-моему, в коттедж номер шесть он больше не вернется.

— По-моему, тоже,— проворчал Экселенц.— А к Глумовой?

— Трудно сказать. Ничего не могу сказать. Не понимаю. Какой-то шанс, конечно, остается...

— Твое мнение: зачем он вообще с нею встречался?

— Вот этого я и не понимаю, Экселенц. Судя по всему, они занимались там любовью и воспоминаниями. Только любовь эта была не совсем любовь, а воспоминания — не обычные воспоминания. Иначе Глумова не была бы в таком мучительном отчаянии. Конечно, он — имперский офицер, еще позавчера он был имперским офицером, и если он напился как свинья, он мог ее попросту оскорбить... Особенно, если вспомнить, какие нестандартные отношения были у них в детстве...

— Не преувеличивай. Они уже давно не дети. Я ставлю вопрос так: если он теперь снова позвонит ей... или придет к ней сам — примет она его?

— Не знаю,— сказал Максим.— Думаю, что да. Он все еще много значит для нее. Она не

могла бы прийти в такое отчаяние из-за человека, который ей противен или безразличен.

— Литература...— проворчал Экселенц и вдруг гаркнул: — Ты должен был узнать, зачем он ее вызывал! О чем они говорили! Что он ей сказал!

Максим разозлился.

— Ничего этого я узнать не мог! Она была в истерике! А когда пришла в себя, перед ней сидел дубина-журналист со шкурой толщиной в дюйм!

— Тебе придется встретиться с нею еще раз.

— Тогда разрешите мне изменить легенду!

Экселенц вдруг спросил, не поднимая головы:

— Зачем тебе понадобилось утром заходить в Музей?

Максим удивился.

— То есть как — зачем? Чтобы поговорить с Глумовой!..

Экселенц медленно поднял голову, и, увидев его глаза, Максим даже отпрянул. Было несомненно, что он только что сказал нечто ужасное. И он залепетал, как школьник:

— А что тут такого?.. Ведь она же там работает... Где же мне было с ней разговаривать? Домой к ней переться, что ли?..

— Глумова работает в Музее внеземных культур? — отчетливо выговаривая слова, спросил Экселенц.

— Ну да... А что случилось?

— В секторе предметов невыясненного назначения... — тихо проговорил Экселенц. То ли спросил, то ли сообщил.

Максим смотрел на него со страхом.

— Да... — произнес он шепотом.

Экселенц снова опустил глаза, и Максим снова видел только его шафранную лысину.

— Экселенц...

— Помолчи! — каркнул Экселенц.

Некоторое время оба молчали. Потом Экселенц сказал своим обычным голосом:

— Так. Отправляйся домой. Сиди дома и никуда не выходи. Ты можешь понадобиться мне в любую минуту. Но скорее всего — ночью. Жди.

Придя домой, озабоченный и озадаченный Максим Каммерер обнаружил там сына Гришу, рослого спортивного парня двадцати пяти лет.

— Здравствуй! — воскликнул Максим, веселясь. — Интересно мне знать, что ты здесь делаешь? С Аленкой поссорился?

— Отнюдь, — отозвался Гриша. — Отозван из отпуска по делам службы.

— По каким еще делам службы? Ты что — серьезно?

— Клянусь честью. Отозван в самом срочном порядке. Заскочил в отчий дом исключительно

166 чтобы перекусить и принять душ... Слушай, папа, где мой халат?

— Там, где ты его поместил, — ответил Максим механически. Он снова сделался озабоченным.

— Ну ладно тебе... Можно, я твой возьму?

— Можно, — сказал Максим и спросил: — Кто тебя отозвал? Серосовин?

Гриша помотал головой.

— Нет. Бери выше. — Он ткнул пальцем в потолок. — Сам! Лично! А вообще, какой пример ты подаешь сыну? Что за манера — выпытывать служебные тайны, пользуясь служебным положением?

— А если по шеяке? — агрессивно спросил Максим, чтобы скрыть нарастающее в нем чувство тревоги.

— А ты попробуй! — предложил Гриша и тут же исчез.

Отеческая длань со свистом пронеслась через пустоту, а Гриша, уже по другую сторону стола, скалил безукоризненные зубы и говорил с издевкой:

— Вяло. Вяло! Вы забыли, с кем имеете дело, сударь?

— И с кем же я имею дело?

— С чемпионом сектора по субаксу, сударь! Как вы полагаете, почему именно меня самое высокое начальство отзывает в самый разгар отпуска? Только потому, что я — чемпион сектора по субаксу! Как вам это нравится, сударь?

— Мне это не очень нравится, — медленно проговорил Максим, и тут раздался видеофонный вызов.

Экран видефона светился, но изображения на нем не было. Максим ткнул пальцем в клавишу и сказал:

— Я вас слушаю... Только имейте в виду, вас почему-то не видно.

— Простите, я забыл, — произнес низкий мужской голос, и на экране появилось лицо.

Это был Лев Абалкин.

— Здравствуй, Мак, — сказал он. — Вы меня узнаете?

Максиму нужно было несколько секунд, чтобы привести себя в порядок. Он был совершенно не готов.

— Позвольте, позвольте... — затянул он, лихорадочно соображая, как следует себя вести. Краем глаза он следил, как Гриша, забрав купальные принадлежности, удалился в ванную.

— Лев Абалкин. Помните? Саракш, Голубая Змея...

— Господи! — вскричал журналист Каммерер, в прошлом Мак Сим, резидент Земли на планете Саракш. — Лева! А мне же сказали, что вас на Земле нет... Или вы еще там?

— Нет. Я уже здесь... — Лев Абалкин улыбнулся. — Надеюсь, я вам не слишком помешал?

— Вы мне никак не можете помешать! Вы

мне нужны позарез! Ведь я пишу книгу о головананах...

— Да, я знаю,— перебил Абалкин.— Потому и звоню... Но, Мак, я ведь уже давно не имею дела с голованами.

— Это совершенно не важно. Важно, что вы были первым, кто имел дело с ними.

— Между прочим, первым были вы...

— Нет. Покусали они меня первого, это так. Но я их просто случайно обнаружил, вот и все... И вообще, о себе я уже написал... Послушайте, Лева, нам надо обязательно встретиться. Вы надолго домой?

— Не очень,— сказал Абалкин.— Но встретимся мы обязательно. Правда, сегодня я не хотел бы...

— Положим, сегодня и мне было бы не совсем удобно,— быстро подхватил журналист Каммерер.— А вот как насчет завтрашнего дня?

Лев Абалкин молча всматривался в его лицо.

— Поразительно, поразительно...— проговорил он.— Вы совсем не изменились. А я?

— Честно?

Лев Абалкин снова улыбнулся.

— Нет. Честно—не надо... Двадцать лет прошло... Вы знаете, вот я сейчас вспоминаю эти времена и думаю: до чего же мне чертовски повезло, что я начинал с такими руководителями, как Геннадий Комов и как вы, Мак...

— Ну-ну, не преувеличивайте. Я-то здесь при чем?

— То есть как это—вы-то здесь при чем? Комов руководил, Раулингсон и я были на подхвате, а ведь всю координацию осуществляли вы и только вы...

Максим вытаращил глаза—самым искренним образом.

— Ну, Лев,—сказал он,— вы, брат, ничего, видно, не поняли в тогдашней субординации. Единственное, что я тогда для вас делал, это обеспечивал безопасность, транспорт и продовольствие... да и то...

— И поставляли идеи!—вставил Абалкин.

— Какие идеи?

— Идея экспедиции на Голубую Змею—ваша?

— Ну, в той мере, что я сообщил на Землю по поводу голованов...

— Так! Это раз. Идея о том, что с голованами должны работать прогрессоры, а никакие не зоопсихологи—это два!..

— Погодите, Лев! Это не моя идея, это Комова идея! Мне тогда вообще на вас на всех было наплевать! У меня тогда был первый массовый десант Океанской империи... Господи! Да если говорить честно, я обо всех вас и вспоминать тогда не вспоминал!

Лев Абалкин смеялся, обнажая ровные белые зубы.

— И нечего на меня скалиться,—сказал Мак-

сим сердито.— Вы же ставите меня в дурацкое положение. Вздор какой. Не-ет, голубчики, видно, я вовремя взялся за эту книгу. Надо же, какими идиотскими легендами все это обросло!

— Ладно, ладно, я больше не буду,—сказал Абалкин.— Мы продолжим этот спор при личной встрече...

— Вот именно. Только спора никакого не будет. Не о чем здесь спорить. Давайте так...—Максим поиграл кнопками настольного блокнота.— Завтра в десять ноль-ноль у меня. Или, может быть, вам удобнее...

— Давайте лучше у меня,—сказал Лев Абалкин.

— Тогда диктуйте адрес,—скомандовал журналист Каммерер.

— Курорт «Осинушка»,—сказал Абалкин.— Коттедж номер шесть.

С мокрыми после душа волосами, полностью экипированный по последней моде, Каммерер-младший остановился на пороге комнаты и, задерживая последнюю «молнию» на курточке, доложил:

— Пап, я пошел. Будут какие-нибудь распоряжения, пожелания?

— Когда вернешься?

— Спроси у шефа.

— Хорошо. Иди. Да не выскакивай особенно, знаю я тебя. Мало я тебя драл.

— А чего ж ты так,—сказал Гриша.— Ленивый был?

Максим махнул ему, и Гриша исчез за дверями.

...Откуда он узнал мой номер? Это просто. Номер я оставлял учителю. И адрес, кстати. Значит, он все же решил повидаться с учителем. Несмотря ни на что. Двадцать лет не давал о себе знать, а сейчас вот вдруг решил повидаться. Зачем? Поплакать в жилетку... Не похоже...

...С какой целью он мне звонил? Он чего-то добивался. Не понимаю, чего именно... Зачем ему понадобилось приписывать мне свои заслуги, да еще заслуги Комова вдобавок. Причем с ходу, в лоб, едва успевши поздороваться... Можно подумать, будто я действительно распространяю легенды о своем приоритете, присваиваю себе все фундаментальные идеи относительно голованов, а он об этом узнал и дает мне понять, что я—дерьмо... Но это же вздор! О том, что именно я первый обнаружил голованов, знают сейчас только самые узкие специалисты, да и те, наверное, забыли об этом за ненадобностью...

...Но факт остается фактом: мне только что позвонил Лев Абалкин и объявил, что по его мнению основоположником и корифеем современной науки о голованах являюсь я, журналист Каммерер. Больше наш разговор не содержал ничего существенного... Ну, правда, свидание

было назначено в самом конце... Но ведь адрес-то, скорее всего, фальшивый...

...Есть, конечно, еще одна версия. Ему было все равно, о чем со мной говорить. Ему нужно было только увидеть меня. Учитель... или Майя Глумова, например... говорят ему: тобой интересуется некий Максим Каммерер. Вот как? — думает скрывающийся Абалкин. — Очень странно! Ведь я знал Максима Каммерера. Это что — совпадение? Лев Абалкин не верит в совпадения. Дай-ка я позвоню этому человеку и посмотрю, точно ли это Максим Каммерер...

...Если это и правда, то не вся правда. Зачем ему понадобилось тогда вступать в разговор? Посмотрел бы, послушал, убедился, что я есть я, и благополучно отключился бы... И потом, я же видел, он не просто разговаривает со мной, он еще и наблюдает за моей реакцией, он говорит заведомую чушь и внимательно следит, как я на эту чушь реагирую... Может быть, он на самом деле допускает, что моя роль в исследовании голованов чрезвычайно велика? Он звонит мне, чтобы проверить это свое допущение, и по моей реакции убеждается, что допущение это неверно...

...Вполне логично, но как-то странно. При чем здесь голованы? Хотя, если бы мне сейчас предложили вкратце изложить самую суть биографии этого человека, я бы, наверное, сказал так: ему нравилось работать с голованами, больше всего на свете он хотел работать с голованами, он уже весьма успешно работал с голованами, но работать с голованами ему почему-то не дали... Так, может быть, у него наконец лопнуло терпение, он плюнул на своих прогрессоров, на дисциплину, на начальство, плюнул на все и вернулся домой, чтобы, черт возьми, раз и навсегда выяснить, почему не дают ему заниматься любимым делом, кто — персонально — мешает ему всю жизнь, с кого спросить за пятнадцать лет, потраченных на безмерно тяжкую и нелюбимую работу прогрессора... Вот он и вернулся. И сразу наткнулся на мое имя. И сразу вспомнил, что, по сути дела, я был куратором его первой работы с голованами. И ему захотелось узнать, не принимал ли я участия в этом беспрецедентном отчуждении человека от любимого дела. И с помощью нехитрого приема он узнал, что нет, не виновен, — занимался, оказывается, отражением десантов и вообще был не в курсе...

Да, так можно было бы объяснить этот разговор со мной. Но только этот разговор, и ничего больше. Ни темную историю с Тристаном, ни темную историю с Майей Глумовой, ни тем более причину, по которой Абалкину понадобилось скрываться, — все это объяснить этой моей гипотезой нельзя. Да елки-палки! Если бы эта моя гипотеза была правильной, Лев Абал-

кин сейчас не скрывался бы, а ходил по КОМ-КОНу и лупил бы своих обидчиков направо и налево, как и полагается имперскому офицеру, который уклонился от обратного кондиционирования... И все-таки что-то здоровое в этой моей гипотезе есть. И возникают кое-какие практические вопросы... Дьявольщина, в дверь звонят... Кто бы это мог быть? Совершенно не вовремя...

Распахнувши входную дверь, Максим Каммерер с огромным изумлением обнаружил на пороге старого учителя — Сергея Павловича Федосеева. Старик почему-то окинул его с ног до головы тревожным взглядом и проговорил с явным облегчением:

— Я вижу, Максим, у вас все более или менее в порядке... Он был у вас?

— Кто? — удивился Максим и добавил: — Да вы входите, Сергей Павлович, прошу вас.

Они вошли в гостиную и уселись в кресла. — Нервы у меня стали шалить, — произнес старик и откашлялся. — Совершенно разучился управлять своим воображением. Извините меня, пожалуйста, Максим, навоображал себе невесту что...

— А вот мы сейчас чайку! — воскликнул бодро журналист Каммерер. — А? С пасифунчиками! А?

— Нет-нет, ни в коем случае. Поздно уже... Так, значит, он к вам так и не заходил еще... Я имею в виду Леву. Леву Абалкина.

— Он мне звонил. Час-полтора назад. А что случилось?

— И как вы его нашли?

— Да разговор, надо признаться, получился довольно странный, я ничего не понял... Но ведь он и раньше был довольно странный парень, как я помню...

— Он не оскорбил вас?

— Господи, конечно, нет! Скорее уж я на него накричал немножко... на правах старшего, так сказать... А что все-таки случилось, Сергей Павлович?

Сергей Павлович явно затруднился.

— Наверное, мне придется рассказать вам все, — проговорил он. — Может быть, нам с вами следует сопоставить наши впечатления... Дело в том, что я видел его сегодня, и до сих пор я чувствую себя... ну просто взвинченным! Представьте себе, примерно в пять часов я вылетел на своем глайдере в Свердловск... у меня там было свидание в клубе. Через пятнадцать минут меня буквально атаковал и заставил приземлиться невеста откуда взявшийся дикий глайдер. Он садится рядом, и из него выскакивает, представьте себе, Лева Абалкин, весь взъерошенный и совершенно невменяемый. Не здороваясь, не давши мне раскрыть рта и тем более не тратя времени на сыновьи объятия, он обрушивается

на меня с саркастическими благодарностями за те невероятные усилия, которые якобы я приложил в свое время для того, чтобы засунуть его, Абалкина, в школу прогрессоров. Понимаете? Он с детских лет мечтал стать зоопсихологом, а я, видите ли, загнал его в прогрессоры и таким образом, как он выразился, сделал всю его дальнейшую жизнь «безмятежной и счастливой»! Это было настолько наглое и беспардонное извращение истины, что поначалу я просто не нашел слов! Я залепил ему оплеуху, он замолчал, и мы несколько минут тряслись друг перед другом от бешенства и негодования. Потом мне удалось взять себя в руки, и я, как мог спокойно, объяснил ему истинное положение дел. Теперь, когда все участники этой странной истории либо умерли, либо давным-давно на покое, я мог ему рассказать все. Какую роль здесь сыграл региональный совет просвещения. Как вел себя Евразийский сектор. Что говорил доктор Серафимович и что сказал тогда тогдашний председатель комиссии по распределению... Я ему рассказал все! Как меня унизили, как меня высекли, как мне предъявили заключение четырех экспертов и доказали, что они все правы и только один я, старый дурак, не прав...

Дойдя до этого пункта, Сергей Павлович задохнулся и замолчал.

— И что же он? — осмелился спросить журналист Каммерер.

Старик горестно пожевал губами.

— Этот глупый мальчишка поцеловал мне руку и бросился к своему глайдеру. Я крикнул ему... Я не мог просто так. Я должен был все объяснить, и я должен был понять, что происходит... А слов не было. И я только сказал ему про вас... Что журналист Каммерер ищет его, чтобы повидаться... И вот тут произошло нечто совсем уж необъяснимое. То, из-за чего я здесь. Все это время я просидел в клубе как на иглоках... Наваждение какое-то... Представьте себе, он уже сел в глайдер и тут услышал ваше имя. Лицо его буквально исказилось. Я не берусь передать это выражение, да я и не понимаю его. Он переспросил меня. Я повторил, уже сомневаясь, правильно ли я поступаю. Он спросил ваш адрес. Я сказал. И тогда он проговорил... нет, прошипел!.. что-то вроде: очень хорошо, с удовольствием с ним повстречаюсь... Я так ничего и не понял. Я пришел к вам сейчас, во-первых, потому, что мне стало страшно за вас... а во-вторых, может быть, вы что-нибудь понимаете? Что случилось? Что происходит с ним?

— Я и сам ничего не могу понять, — сказал Каммерер искренне.

— Бедный мальчик... — проговорил учитель. — Вы знаете, ведь ему не повезло в жизни. У меня такое впечатление, что всю жизнь ему не везло. — Он помолчал и добавил, поднимаясь: — Вы знае-

те, Максим, мне сейчас кажется почему-то, что я больше никогда его не увижу.

У себя дома Экселенц носил строгое черное кимоно. Он восседал за рабочим столом и занимался любимым делом: рассматривал через лупу какую-то уродливую коллекционную статуэтку.

— Я понял твою гипотезу, — сказал Экселенц. — Чуть позже мы поговорим о ней. По моему, у тебя есть ко мне вопросы.

— Да, — сказал Максим. — Я хотел бы знать, вступал ли Лев Абалкин на Земле в контакт с кем-нибудь еще. Кроме меня.

— Вступал, — сказал Экселенц и посмотрел на Максима с явным интересом.

— Могу я узнать — с кем?

— Можешь. Со мной.

Максим вздрогнул.

— Я вижу, тебя это удивляет... — продолжал Экселенц. — Меня тоже. Но никакого разговора у нас не было. Он проделал такую же штуку, что и с тобой: не включил изображение. Полубовался на меня, узнал, надо думать, и отключился.

— А почему вы, собственно, решили, что это был он?

— Потому что он связался со мной по каналу, который был известен только одному человеку.

Так, может быть, этот человек...

— Нет. Этот человек мертв. Его звали Тристан Гутенфельд, он был наблюдающим врачом Льва Абалкина, как ты должен помнить, и погиб при довольно странных обстоятельствах.

Некоторое время они молчали, потом Экселенц заговорил снова:

— Что же касается твоей гипотезы, то она никуда не годится. Лев Абалкин сделался превосходным резидентом. Он любил свою работу, отлично ее делал, и у него в мыслях даже не было ее менять...

— Однако с детства он мечтал стать зоопсихологом...

— Это не твоя компетенция, — сказал Экселенц резко. — Не отвлекайся. Ты все время отвлекаешься. Что ты намерен делать дальше?

Максим посмотрел на часы.

— На десять часов у меня назначено свидание с Абалкиным в коттедже номер шесть, как я вам уже докладывал. Полагаю, это пустой номер. Он не придет. Тогда я отправлюсь в Канаду. Я еще не говорил вам, Экселенц... Через информаторий мне удалось разыскать того голвана по имени Щекн-Итрч, с которым Лев Абалкин дружил в молодые свои годы. Так вот, он сейчас на Земле. Он что-то вроде культурного атташе... или, если угодно, переводчика-референта при постоянном посольстве голова-

нов. Это на реке Телон, северо-западнее Бейкерлейка...

Экселенц кивнул.

— Хорошо,— сказал он.— Но сначала ты найдешь Глумову. Ты выяснишь у нее следующее. Виделась ли она с Абалкиным еще раз. Говорил ли Абалкин с ней о ее работе. Если говорил, то что именно его интересовало. Не выражал ли он желания прийти к ней в Музей. Все. Повтори.

— Выяснить у Глумовой, виделась ли она с ним еще раз, говорил ли он с ней о работе, если говорил — то что именно его интересовало, не выражал ли желания посетить Музей.

— Так. Ты предлагал сменить легенду. Не возражаю. КОМКОН разыскивает прогрессора Абалкина для получения от него показаний касательно некоего несчастного случая. Расследование связано с тайной личности и потому проводится негласно. Не возражаю. Вопросы есть?

— Хотел бы я знать, при чем здесь этот Музей...— пробормотал Максим как бы про себя.

— Ты что-то сказал?— осведомился Экселенц.

— Нет. Мне все ясно. Кроме того, что неясно совсем.

— Не отвлекайся...— проворчал Экселенц и вдруг грохнул кулаком по столу и заорал:— Скажи спасибо, мальчишка, что я не рассказываю тебе всего! Уходи!

Максим вскочил и направился к двери.

— Стой,— сказал Экселенц.— Приказ отыскать Абалкина и взять под наблюдение я отменяю. Теперь ты пойдешь по его следам. Сейчас мне важнее всего знать, где он бывает, с кем встречается и о чем говорит. Иди. И прости меня. По крайней мере, постарайся.

У себя в кабинете Максим позвонил Майе Глумовой домой. На экране появилась веснушчатая детская физиономия с прозрачными северными глазами,— безусловно Глумов-младший, одиннадцати лет.

— Гм...— произнес Максим.— Здравствуй.

— Здравствуйте. Вы кто?

— Я — мамин знакомый. Можно твою маму?

— А мамы нет,— сказал Глумов-младший и добавил:— Будет поздно, так и сказала.

— Ну извини,— сказал Максим.— Тогда позвоню ей на работу.

Он набрал номер Музея и испытал некоторый шок. С экрана приятно улыбнулся ему Григорий Каммерер, сынишка и чемпион по субаксу. В течение нескольких секунд Максим наблюдал за последовательной сменой выражений на загорелой Гришиной физиономии. Приятная улыбка. Полная растерянность. Веселое недоумение. Официальная готовность выслушать распоря-

жения. И наконец снова приятная улыбка, правда, слегка уже натянутая.

— Здравствуйте,— сказал Максим.— Попросите, если можно, Майю Тойвовну.

— Майя Тойвовна...— Гриша огляделся.— Вы знаете, ее нет. По-моему, она сегодня еще не приходила. Передать ей что-нибудь?

— Передайте, что звонил Каммерер, журналист. Она должна меня помнить. А вы что же — новичок? Что-то я вас...

— Да, я тут только со вчерашнего дня... Я, собственно, посторонний, работаю с экспонатами...

— Ага...— сказал Максим.— Ну что ж... Прощу прощения. Я еще позвоню.

Он откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову.

...Так-так-так. Экселенц принимает меры. Похоже, что он просто уверен, что Лев Абалкин появится в Музее... Попробуем понять, почему он выбрал именно моего Гришку. Гриша у нас без году неделя. Сообразительный. Хорошая реакция. По образованию экзобиолог. Похоже, именно в этом все дело: молодой экзобиолог начинает свое первое самостоятельное исследование в Музее взезных культур... Тихо, мирно, изящно, прилично. И кроме того, Гришка — чемпион сектора по субаксу... При чем здесь Музей? Почему Экселенц допускает, что имперского штабника, натворившего что-то такое в сотне парсеков отсюда, может что-то заинтересовать в этих залах... Когда я сказал ему, что Глумова работает в Музее, он же испугался! Мне удалось напугать Экселенца! У него зрачки были во всю радужку!..

...Тайна личности. Самая сумеречная тайна из всех мыслимых. О ней ничего не должна знать сама личность. Этот Абалкин когда-то что-то натворил, и сам не знает этого, и все обязаны скрывать от него эту его собственную тайну... Ненавижу тайны. Терпеть их не могу. По-моему, все тайны в наше время и на нашей планете отдают какой-то гадостью. Наверное, Экселенц прав, когда орет на меня, чтобы я не совал носа дальше необходимого — ведь меня же и стошнит... Наверняка ведь есть люди, которые посвящены в эту тайну полностью, но они, видимо, не годятся для розыска. И есть, наверное, куча людей, которые провели бы этот розыск лучше меня, но Экселенц понимает, что розыск рано или поздно приведет к тайне, и тут важно, чтобы у человека хватило деликатности вовремя остановиться. Поэтому Экселенц и поручил это дело именно мне... Ну что ж, он сделал правильный выбор... Сейчас я позвоню в коттедж номер шесть и отправлюсь напрямик в Канаду... А Майя Глумова — потом...

Максим посмотрел на часы и набрал номер на видеофоне.

Он снова испытал шок. Он увидел на экране Майю Глумову.

— А, это вы...— проговорила она с отвращением.

Обида и разочарование были на лице ее. Щеки ввалились, под глазами легли тени, но прекрасные волосы ее были тщательно уложены, а поверх строгого серого платья лежало то самое янтарное ожерелье.

— Да, это я...— сказал журналист Каммерер растерянно.— Доброе утро. Я, собственно... Что, Лев у себя?

— Нет,— сказала Майя.

— Я хотел... Дело в том, что он назначил мне свидание...

— Здесь?— живо спросила она.— Когда?

— В десять часов. Я просто хотел на всякий случай узнать...

— А он вам точно назначил?— совсем по-детски спросила она.— Как он вам сказал?

— Как он мне сказал?— медленно повторил Максим Каммерер, переставая разыгрывать из себя журналиста.— Вот что, Майя Тойвовна. Не будем себя обманывать. Скорее всего, он не придет.

Она смотрела на него, словно не веря своим глазам.

— Как это?.. Откуда вы знаете?

— Ждите меня,— сказал Максим.— Я вам все расскажу. Через несколько минут я буду у вас.

— Что с ним случилось?— пронзительно и страшно крикнула Майя Глумова.

— Он жив и здоров. Не беспокойтесь. Ждите, я сейчас...

Она ждала его в холле коттеджа номер шесть— сидела за низким столом рядом с игрушечным медвежонком, держа на коленях видеофон. Войдя, Максим непроизвольно взглянул на приоткрытую дверь гостиной, и она сейчас же сказала:

— Мы будем разговаривать здесь.

— Как вам будет угодно,— отозвался Максим.

Нарочито неторопливо он осмотрел гостиную, кухню и спальню. Везде было чисто прибрано и, конечно, никого там не было. Когда он вернулся в холл, Майя по-прежнему сидела неподвижно, положив руки на видеофон, и смотрела прямо перед собой.

— Кого вы искали?— спросила она холодно.

— Не знаю. Никого. Просто я хотел убедиться, что мы здесь одни. Потому что разговор у нас будет деликатный.

— Кто вы такой? Только не врите больше.

— Я— сотрудник КОМКОНа,— сказал Максим. Она непонимающе подняла брови, и он объяснил:— КОМКОН— это Комитет по контролю исследований. КОМКОН следит за тем, чтобы научные исследования... и все исследования во-

171
обще... не выходили за рамки юридических и морально-нравственных установлений общества. Понятно? Так вот, сейчас мы ищем Льва Абалкина. Он нужен нам как свидетель. На одной из обитаемых планет— очень далеко отсюда— произошел несчастный случай. Абалкин— единственный человек, который может рассказать нам детали... Все это связано с тайной личности, поэтому мы вынуждены действовать негласно и поэтому я даже не извиняюсь, что врал вам раньше, у меня просто не было ни времени, ни возможности посвящать вас в подробности...

— То есть теперь вы решили больше со мной не церемониться?

— А что прикажете делать?

Она не ответила.

— Вот вы сидите здесь и ждете,— сказал Максим,— а ведь он не придет. Он водит вас за нос. Он всех нас водит за нос, и конца этому не видно...

— Почему вы решили, что он сюда не вернется?

— Потому что он скрывается. Потому что он врет всем, с кем ему приходится разговаривать.

— Зачем же вы сюда тогда звонили?

— А затем, что я никак не могу его найти! Мне приходится ловить любой шанс, даже самый дурацкий!

— Что он сделал?— спросила Майя Глумова.

— Я не знаю, что он сделал. Скорее всего, ничего не сделал. Я же объясняю вам: мы ищем его потому, что он единственный свидетель большого несчастья...

— Почему же он тогда скрывается?

— Мы не знаем. Он, можно сказать, болен. Возможно, ему что-то чудится. Возможно, это какая-то идея-фикс...

— Болен...— сказала Майя и покачала головой.— Может быть. А может быть, и нет... Что вам надо от меня?

— Вы виделись с ним еще раз?

— Нет. Он обещал позвонить, но так и не позвонил.

— Почему же вы ждете его здесь?

— А где мне его еще ждать?— спросила она, и в голосе ее было столько горечи, что Максим отвел глаза и некоторое время молчал.

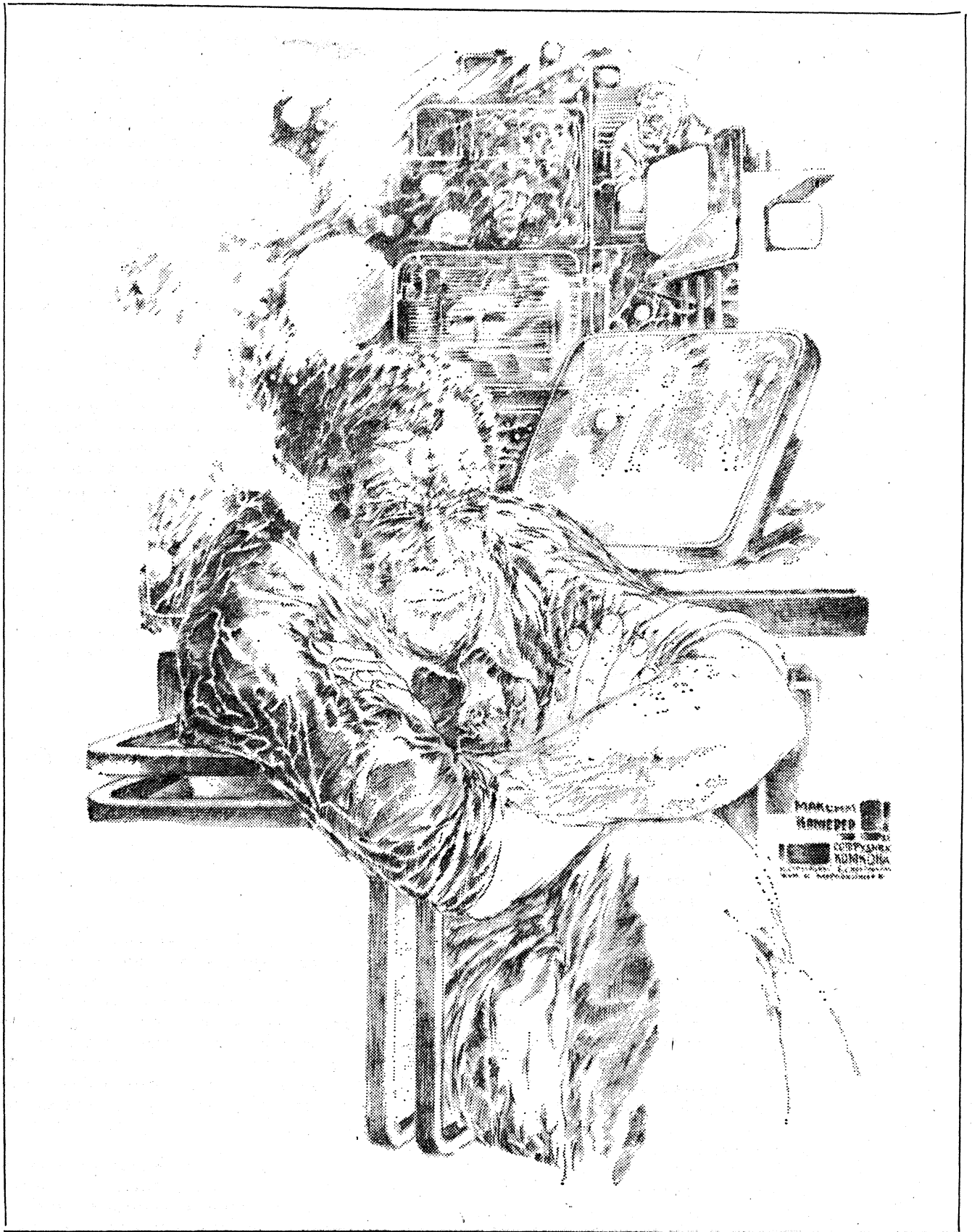
— А куда он собирался вам звонить?— спросил он наконец.— На работу?

— Наверное... Не знаю. В первый раз он позвонил на работу.

— Он позвонил вам в Музей и сказал, что приедет к вам?

— Нет. Он позвал меня к себе. Сюда.

— Майя Тойвовна,— сказал Максим.— Меня интересуют все подробности вашей встречи. Вы рассказывали ему о себе, о своей работе... Он рассказывал о своей... Постарайтесь вспомнить, как все это было.



Она покачала головой.

— Нет. Ни о чем таком мы не разговаривали. Я уже потом сообразила, уже дома, что я так ничего о нем и не узнала. Это действительно странно... Мы столько лет не виделись... А ведь я расспрашивала его: где ты был, что делал... но он отмахивался и кричал, что все это чушь, ерунда, все это обморок души—так он говорил.

— Значит, он расспрашивал вас?

— Да нет же! Все это его не интересовало... Кто я, как я... Одна или у меня кто-нибудь есть... чем я живу... Он был как мальчишка... Я не хочу об этом говорить.

— Майя Тойвовна, не надо говорить о том, о чем вы не хотите говорить...

— Я ни о чем не хочу говорить!

Максим поднялся, сходил на кухню и принес ей воды. Она жадно выпила стакан до дна, проливая воду на свое серое платье.

— Все это никого не касается,— сказала она, возвращая стакан Максиму.

— Не надо говорить о том, что не касается,— сказал Максим.— Просто расскажите, о чем он вас расспрашивал.

— Я же говорю вам: он ни о чем не расспрашивал! Он рассказывал, вспоминал, рисовал, спорил... как мальчишка... Оказывается, он все помнит! Чуть ли не каждый день от утра и до самой ночи! Где стоял он, где стояла я, что сказал Рекс, как смотрел Вольф... Я ничего не помнила, а он кричал на меня и заставлял вспоминать, и я вспоминала... А как он радовался, когда я вспоминала что-нибудь такое, чего он сам не помнил!..

Она замолчала.

— Это все о детстве? — спросил Максим, пождав.

— Ну конечно! Ведь я же вам говорю, это никого не касается, это только наше с ним!.. Он и правда был как сумасшедший... У меня уже сил не было, я засыпала, а он будил меня и кричал в ухо: а кто тогда свалился с качелей? И если я вспоминала, он хватал меня в охапку, бегал со мной по дому и орал: правильно, все так и было, умница, правильно!

— И он не расспрашивал вас, что сейчас с учителем, где школьные друзья?

— Я же вам объясняю: он ни о чем не расспрашивал! Можете вы это понять? Он рассказывал, он вспоминал и требовал, чтобы я тоже вспоминала...

— Да, понимаю, понимаю... — сказал Максим.— А что он, по-вашему, намеревался делать дальше?

Она посмотрела на него с презрением.

— Ничего вы не понимаете,— сказала она. Некоторое время они молчали.

Голос Максима:

«...В общем, она права. Я получил ответы на

(73) вопросы Экселенца. Я знаю теперь, что Абалкин НЕ интересовался работой Глумовой, что он НЕ намеревался использовать ее для проникновения в Музей, но я совершенно не понимаю, какую цель он преследовал, устраивая эту ночь воспоминаний. Сентиментальность? Дань детской любви? Возвращение в детство? Не верю. Цель была практическая. Абалкин хорошо ее продумал и достиг, не возбудив у женщины никаких подозрений. Ведь она тоже явно не понимает, что это было на самом деле. Остается еще один вопрос. Неприятный вопрос. Можно схлопотать по физиономии и вполне заслуженно...»

— Майя Тойвовна,— произнес Максим, глядя в сторону.— Скажите, а чем было вызвано такое ваше отчаяние, которому я был невольным свидетелем в нашу прошлую встречу?

Он спросил и замер, ожидая взрыва. Но взрыва не произошло.

— Я была дура,— сказала Майя Глумова довольно спокойно.— Дура истеричная. Мне почудилось тогда, что он выжал меня как лимон и выбросил за порог... Теперь-то я понимаю: ему и в самом деле не до меня... Я, дура, все требовала от него объяснений, а он ведь не мог мне ничего объяснить. Он же знает, наверное, что вы его разыскиваете...

Максим поднялся.

— Большое спасибо, Майя Тойвовна. Я ухожу. По-моему, вы неправильно поняли наши намерения. Никто не хочет ему вреда, клянусь вам. И если вы встретитесь с ним, постарайтесь, пожалуйста, внушить ему эту мысль.

Она не ответила.

Когда Максим в кабинете Экселенца закончил доклад, Экселенц сказал задумчиво:

— И она там так и сидит... Почему?

— Ждет.

— Разве он ей назначил?

— Насколько я понимаю — нет.

— Бедняга... — проворчал Экселенц. Потом он спросил: — У тебя появились какие-то новые соображения?

— Не знаю... — произнес Максим.— Наверное, нет. Я просто подумал... в его поступках ощущается какая-то логика. Они связаны между собой. Он все время применяет один и тот же прием — ошарашивает человека каким-то заявлением или вопросом, а потом слушает, что бормочет этот ошарашенный... По-моему, он хочет что-то узнать, что-то о своей жизни... что-то такое, что от него скрыли... Экселенц, он каким-то образом узнал, что с ним связана тайна личности.

Экселенц выслушал его внимательно и некоторое время разглядывал в упор, словно видел перед собой что-то новое и интересное.

— Такого рода соображения вряд ли помо-

гут тебе в работе,— сказал он, помолчав.— Еще раз советую тебе: не отвлекайся! Что у тебя сейчас на очереди? Посольство голованов? Хорошо. Займись посольством голованов. И возвращайся поскорее. Ты мне нужен здесь.

В Канаде была глубокая ночь. Невидимая река шумела сквозь шуршанье дождя, а прямо перед Максимом мокро отсвечивал легкий металлический мост, над которым светилось большое табло на английском, французском, русском и китайском языках: «Территория народа голованов».

Максим перешел мост и оказался в лесу. Лес был густой, небо было сплошь обложено, и весь этот ночной мир казался Максиму серым, плоским и мутноватым, как старинная фотография.

Когда Максим заметил голована Щекна, тот понял это мгновенно и сразу оказался на тропинке перед ним.

- Я здесь,— объявил он.
- Вижу,— сказал Максим.
- Будем говорить здесь,— сказал Щекн.
- Хорошо,— сказал Максим.

Голован сейчас же сел, совершенно как собака, разговаривающая с хозяином,— крупная толстая большеголовая собака с маленькими треугольными ушами торчком, с большими круглыми глазами под массивным широким лбом. Голос у него был хрипловатый, и говорил он без малейшего акцента, так что только короткие рубленные фразы и несколько преувеличенная четкость артикуляции выдавали в его речи чужака.

- Что тебе нужно?— спросил он прямо.
- Тебе сказали, кто я?
- Да. Ты журналист. Пишешь книгу про мой народ.
- Это не совсем так. Я пишу книгу о Льве Абалкине. Ты его знаешь.
- Весь мой народ знает Льва Абалкина.
- Вот как? И что же твой народ думает о Льве Абалкине?
- Мой народ не думает о Льве Абалкине. Он его знает.
- Я хотел спросить: как твой народ относится к Льву Абалкину?
- Он его знает. Каждый. От рождения и до смерти.
- Что ты можешь рассказать мне о Льве Абалкине?
- Ничего,— коротко ответил Щекн. Он поднес переднюю лапу к морде и принялся шумно выкусывать между когтями. Не по-собачьи, а так, как это делают иногда наши кошки.

Максим начал с другого конца.

— Я знаю, что Лев Абалкин твой друг,— сказал он.— Вы жили и работали вместе. Очень

174) многие земляне хотели бы знать, что думает об Абалкине его друг и сотрудник голован.

- Зачем?
- Опыт.
- Бесплезный опыт.
- Бесплезного опыта не бывает,— возразил

Максим.

Щекн принялся за другую лапу и через несколько секунд проворчал невнятно:

— Задавай конкретные вопросы.

Максим сказал:

— Мне известно, что в последний раз ты работал с Абалкиным пятнадцать лет назад. Приходилось тебе после этого работать с другими землянами?

- Приходилось. Много.
- Ты почувствовал разницу?

Щекн вдруг замер, а затем медленно опустил лапу и поднял лобастую голову. Глаза его на мгновение озарились мрачным светом. Однако и секунды не прошло, как он вновь принялся глотать свои когти.

— Трудно сказать,— проворчал он.— Работы разные, люди тоже разные. Трудно.

— Хорошо,— сказал Максим.— Ты с ним встретился. Он снова пригласил тебя работать. Ты согласился?

- Он не приглашал меня работать.
- Тогда о чем же вы говорили?
- О прошлом...— буркнул Щекн.— Никому не интересно.

— Как тебе показалось, он сильно изменился за эти пятнадцать лет?

— Это тоже не интересно.

— Нет. Это тоже интересно. Я тоже видел его недавно и обнаружил, что он сильно изменился. Но я землянин, а мне надо знать твое мнение.

- Мое мнение: да.
- Вот видишь! И в чем же он, по-твоему, изменился?

— Ему больше нет дела до народа голованов.

— Правда? А со мной он только о голованах и говорил!

Глаза Щекна озарились красным.

— Когда это было?

— Позавчера. А почему ты решил, будто ему больше нет дела до народа голованов?

Щекн вдруг объявил:

— Мы теряем время. Не задавай пустых вопросов. Задавай настоящие вопросы!

— Хорошо. Задаю настоящий вопрос. Где он сейчас?

- Не знаю.
- Что он намеревался делать?
- Не знаю.
- Что он тебе говорил? Мне важно каждое его слово.

И тут Щекн принял странную, неестественную даже позу: присел на напружиненных ла-

пах, вытянул шею и уставился на Максима снизу вверх. Затем, мерно покачивая тяжелой головой вправо и влево, он заговорил, отчетливо выговаривая слова:

— Слушай внимательно, понимай правильно и запоминай надолго. Народ землян не вмешивается в дела народа голованов. Народ голованов не вмешивается в дела народа землян. Так было, так есть и так будет. Дело Льва Абалкина есть дело народа землян. Это решено. А потому: не ищи того, чего нет. Народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину.

У Максима вырвалось:

— Он просил убежища? У вас?

— Я сказал только то, что сказал: народ голованов никогда не даст убежища Льву Абалкину. Больше ничего. Ты понял это?

— Я понял это,— медленно проговорил Максим и продолжил: — Но меня не интересует это. Повторяю свой вопрос: что он тебе говорил?

— Я отвечу. Но сначала повтори мне то главное, что я тебе сказал.

— Хорошо, я повторю. Народ голованов не вмешивается в дело Абалкина и отказывает ему в убежище. Так?

— Так. И это — главное.

— Теперь отвечай на мой вопрос.

— Отвечаю. Он спросил меня, есть ли разница между ним и другими людьми, с которыми я работал. Точно такой же вопрос, какой задавал мне ты.

Едва кончив говорить, он повернулся и скользнул в заросли. Ни одна ветка, ни один лист не шевельнулся, а его уже не было. Он исчез.

— Как вам это нравится? — спросил Максим Экселенца. — Ай да Щекн! Помните, что пишет о нем Абалкин? «Я учил его языку и как пользоваться видеофоном. Я не отходил от него, когда он болел своими странными болезнями... Я терпел его дурные манеры, мирился с его бесцеремонностью, прощал ему такие вещи, какие не прощаю никому в мире... Если придется, я буду драться за него, как за землянина, как за самого себя. А он? Не знаю...» Вот теперь и узнал.

Экселенц сказал:

— Ты всерьез допускаешь, что Лев Абалкин мог просить у них убежища?

— Я не знаю, просил ли он убежища, но в убежище ему отказано. Теми самыми существами, ради которых он в свое время был готов на все...

— По-моему, ты его жалеешь,— сказал Экселенц.

Максим наклонился и принялся обирать репья с мокрых штанов.

— Почему бы и нет? — сказал он раздраженно. — Если я вижу, что человек с изуродованной

судьбой мечется, не находя себе места, как отравленный, и сам отравляет всех, с кем встречается... отчаянием, обидой, страхом...

— Я тебе еще раз напоминаю, Мак, — произнес Экселенц. — Он опасен! И он тем более опасен, что сам об этом, видимо, не знает.

— Да кто он такой, черт возьми? — спросил Максим. — Обезумевший робот?

— У робота не может быть тайны личности, — сказал Экселенц. — Не отвлекайся.

Максим засунул репья в карман куртки и сел прямо.

— Сейчас ты можешь идти домой, — сказал Экселенц. — Будь поблизости, в черте города, и жди моего вызова. Возможно, сегодня ночью он попытается проникнуть в Музей. Тогда будем его брать.

— Хорошо, — сказал Максим без всякого энтузиазма.

Экселенц, откровенно оценивая, оглядел его.

— Надеюсь, ты в форме? Будете брать его вдвоем. Я уже слишком стар для таких упражнений.

В 01.08 радиобраслет на запястье Максима пискнул, и приглушенный голос Экселенца проборкотал скороговоркой: «Максим, быстро, Музей, главный вход, жду тебя...»

Максим скатился с крыльца, промчался по ночному пустому бульвару и нырнул в будку нуль-транспортировки. Он выскочил на Площади Звезды и скользнул в тень Музея. Экселенц уже возился у дверей главного входа, орудуя магнитной отмычкой. Дверь распахнулась.

— За мной, — скомандовал Экселенц и нырнул во тьму.

Они неслись огромными неслышными скачками, обтянутые черным, похожие на тени средневековых демонов. Экселенц вел Максима по сложной извилистой кривой из зала в зал среди статуй и макетов, похожих на уродливые механизмы, среди механизмов и аппаратов, похожих на уродливые статуи. Нигде не было света, видимо, автоматика была заранее отключена.

Они остановились, только оказавшись в кабинете-мастерской Майи Тойвовны Глумовой. Пустые столы. Стеллажи вдоль стен, уставленные инопланетными диковинами. А из кресла, в котором давеча сидел журналист Каммерер, поднялся им навстречу Григорий Каммерер-младший, тоже весь в черном, почти невидимый в темноте.

Экселенц шагнул к стеллажам, согнулся, с натугой вытащил что-то с полки и направился к столу, расположенному прямо перед входом. Слегка откинувшись корпусом назад, он нес в опущенных руках длинный предмет, какой-то плоский брусок с закругленными краями. Осторожно, без малейшего стука он поставил этот

предмет на стол, на мгновение замер, прислушиваясь, а потом вдруг, как фокусник, потянул из нагрудного кармана длинную пеструю шаль с бахромой. Ловким движением расправил ее и набросил поверх бруска. Потом повернулся к обоим Каммерерам и едва слышно прошептал:

— Когда он прикоснется к платку — берите его. Если он заметит нас — берите его. Встаньте здесь.

Максим встал по одну сторону двери, Гриша — по другую, а сам Экселенц встал рядом с Гришей — позади и несколько правее. Сначала ничего не было слышно. Даже дыхания троих затаившихся людей. Потом вдруг послышался шум. Шум был, прямо сказать, основательный — где-то в недрах музея обрушилось нечто обширное, металлическое, разваливающееся в падении. Максим с Экселенцем обменялись удивленными взглядами. Звон, лязг и дребезг постепенно прекратились, но теперь стали слышны другие звуки. Много разных звуков. Кто-то явно приближался, нисколько не скрываясь. Он волочил ноги и звучно шаркал подошвами. Он задевал за притолоки и за стены. Один раз он налетел на какую-то мебель и разразился серией невнятных восклицаний с преобладанием шипящих. И вот на стены кабинета из открытой двери упали слабые электрические отблески.

— Это не он, — сказал Максим Экселенцу почти вслух.

Экселенц кивнул. Вид у него был недоумевающий и угрюмый. А потом он вдруг оттянул на себе борт черной куртки и правой рукой принялся засовывать за пазуху большой черный револьвер. Увидевши его, Каммерер-старший обмер, потому что понял: Экселенц был готов убить Абалкина. Он был так ошеломлен, что забыл обо всем на свете, а Каммерер-младший, по-прежнему напрягшись, ждал, вперившись в дверной проем.

Тут в мастерскую ворвался толстый столб яркого света, и, зацепившись в последний раз за притолоку, вошел лже-Абалкин.

Вообще-то говоря, он был даже чем-то похож на Льва Абалкина: ладный, крепкий, с длинными черными волосами до плеч. Он был в белом просторном плаще и держал перед собой электрический фонарь. В другой руке у него был большой портфель. Войдя, он остановился, провёл лучом по стеллажам и произнес вслух:

— Ну, кажется, это здесь.

Голос у него был скрипучий, а тон — нарочито бодрый. Видимо, он чувствовал себя неплохо, а может быть, ему было жутковато.

Теперь было видно, что это, собственно, старый человек. У него были впалые морщинистые щеки, очень высокий морщинистый лоб, длинный острый нос с горбинкой и длинный острый под-

бородок. В общем, он был похож не столько на Льва Абалкина, сколько на Шерлока Холмса.

Бегло оглядевшись, он подошел к столу, поставил свой портфель прямо на цветастый платок, а сам, подсвечивая себе фонариком, принялся осматривать стеллажи. При этом он непрерывно бормотал что-то себе под нос:

— Ну, это всем известно... бур-бур-бур... Обыкновенный иллюзион... бур-бур-бур... Предметы невыясненного назначения, ха! Хлам и хлам... бур-бур-бур... Может быть, и не на месте... Засунули куда-нибудь, запихали, запрятали... бур-бур-бур...

Экселенц следил за всеми этими манипуляциями, заложивши руки за спину, и на лице его было выражение безнадежной усталости или даже усталой скуки.

Когда старик добрался до самой дальней секции, Экселенц тяжело вздохнул и сказал брезгливо:

— Ну что вы там ищете, Бромберг? Детонаторы?

Старик Бромберг тоненько взвизгнул и шархнулся в сторону, повалив стул.

— Кто здесь? — завопил он фальцетом, лихорадочно шаря лучом вокруг себя. — Кто это?

— Да я это, я, — отозвался Экселенц еще более брызгливо. Он подошел к столу и уселся на край рядом с портфелем. — Перестаньте вы трястись...

— Кто вы? Какого дьявола! — луч уперся в Экселенца. — А-а! Сикорский! Ну, я так и знал!

— Уберите фонарь, — приказал Экселенц, заслоняя лицо ладонью.

— Я так и знал, что это ваши штучки! — вопил старикан Бромберг. — Я сразу понял, кто стоит за всем этим бездарным спектаклем!

— Уберите фонарь, не то я его расколочу! — гаркнул Экселенц.

— Попрошу на меня не орать! — взвизгнул Бромберг, но луч отвел. — И не смейте прикасаться к моему портфелю!

Экселенц встал и пошел на него.

— Не смейте ко мне подходить! — завопил Бромберг. — Я вам не мальчишка! Стыдитесь! Ведь вы же старик!

Экселенц подошел к нему, легко отобрал фонарь и поставил на ближайший столик рефлектором вверх.

— Присядем, Бромберг, — сказал он. — Надо поговорить.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ

Два репортажа ИЗ БУДАПЕШТА



Одно за другим два неординарных события, связанных с НФ, совершились в прошлом году в столице братской Венгрии: 7—10 июля прошел очередной Еврокон, а месяцем позже — конгресс Международной ассоциации писателей-фантастов.

Публикуя впечатления участников этих событий, не можем не отметить: на фоне разнообразной и весьма подчас любопытной информации в обоих репортажах явственно сквозит до боли обидная для нас нота некоей нашей неполноценности...

Отчего все-таки и в самом деле мы — и наша фантастика, и наше КЛФ движение — смотримся столь бледно и немощно рядом с заграничными соседями, не только дальними, но и ближними? Ни журналов у нас, ни клубных изданий, ни альбомов и плакатов (о комиксах уж и не говорим), ни даже самих книг — столь необходимых ведь самым широким читательским слоям, а вовсе не только фэнам! [Вот и само это слово, общепринятое во всем мире, до сих пор даже в печатных выступлениях нередко ассоциируется у нас с чем-то нехорошим и едва ли не постыдным...]

Кому адресовать этот грустный вопрос?

Всесоюзному совету КЛФ!

Семи его учредителям!

Или и дальше так и жить — по пословице: «у семи нянек дитя без глазу»!

«Особые контакты»-13

Седьмого июля прошлого года в Будапеште состоялся первый выход представителей советских клубов любителей фантастики на европейский простор.

«Несчастливое» число тринадцать — именно в 13-й раз собрался Европейский конгресс любителей фантастики (Еврокон) — обернулось для нас удачей. Год на дворе — 1988-й, оформление документов для поездки за границу стало полегче. И хотя надежды на спонсоров Всесоюзного совета КЛФ, в общем-то, не оправдались, все же мы — Борис Завгородний из Волгограда (за свой счет) и я (по командировке Ростовского городского объединения «Досуг») — на Евроконе! Прежде-то нашу страну на нем представляли только писатели — вероятно, поэтому президент Венгерского общества любителей фантастики доктор Шандор Хорват, открывая конгресс, особо подчеркнул присутствие советской делегации...

Кроме нас и венгров, на встрече присутствуют представители Австрии, Болгарии, ГДР, Голландии, Польши, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии. Для проведения Еврокона-13 и совмещенного с ним Хунгарокон-9 был предоставлен Будапештский конгресс-центр — залы большие и маленькие, киноустанов-

ки, видеомониторы. Работают переводчики. Идет оживленная распродажа книг, плакатов, комиксов, журналов. На прилавке — венгерские «Робур» и «Галактика», польская «Фантастыка». С гордостью демонстрируют первый номер журнала «Фантастика. Эвристика. Прогностика» болгары А. Славов и Н. Близнаков. Ну, и мы пытаемся соответствовать — раздаем буклеты «Уральского следопыта», рассказываем о призе «Аэли-та». А вот на вопрос о советском специализированном журнале фантастики только разводим руками — разговорам о нем четвертый десяток лет, но сдвигов пока никаких.

Программа конгресса обширна — выступления писателей, доклады по истории фантастики, по проблемам ее перевода, сообщения о движении КЛФ, о мировых и европейских конгрессах, о трудностях единственного в мире музея фантастики в Швейцарии... Впрочем, единственного ли? Казначей Европейского общества любителей фантастики, работник этого музея Паскаль Дюкоммун с интересом выслушал наш рассказ о музее НФ при редакции «У. С.» в Свердловске...

Впервые на Евроконе каждая из представленных стран получает приз. За ряд НФ картин и иллюстраций награжден болгарский художник С. Лефтеров. В Чехословакию отправляется приз для О. Неффа, автора книги по истории фантастики «Все иначе». За отличную редакторскую работу и постоянную рубрику фантастики в журнале «Даугава» отмечен призом советский писатель Владимир Михайлов,

(К сожалению, с его уходом из редакции интерес прибалтийского издания к этой рубрике, втрое поднявшей его тираж, заметно угас). Под оглушительный шум соотечественников вручается грамота Т. Херману (Финляндия) — за активную работу в движении КЛФ...

Представители клубов соцстран приняли в Будапеште решение об организации Соцконов. Мнение было единодушным — первый конгресс нового международного объединения КЛФ лучше всего провести у нас, в Советском Союзе. В результате новая проблема встает перед нами КЛФ — проблема, с которой одним клубам явно не справиться.

Первым же реальным делом Соцкона должен стать регулярный, раз в квартал, обмен информацией — с целью выпуска информбюллетеня о новостях фантастики и движения КЛФ в социалистических странах. Пока-то наши рассказы о советских КЛФ, о семинарах в Свердловске и Новомихайловке, о лауреатах «Аэлиты», о молодых фантастах воспринимаются... ну, как сообщения с Альфы Центавра. А мы что знаем о работе пловдивского клуба «Иван Ефремов» или берлинского «Анди-мон», о творчестве, скажем, лауреата Хунгарокон писателя Хуго Прайера? Да немногим больше...

Еврокон завернен. Информации много, задач — еще больше.

М. ЯКУБОВСКИЙ,
председатель КЛФ «Притяжение»
г. Ростов-на-Дону

Встреча разумов

...Его высокий голос и заразительный смех слышны издали, а внешность настолько колоритна (знаменитая белоснежная борода!), что не спутаешь его ни с кем в любой толпе. Быстрая речь, резкая жестикуляция, молодые глаза, светло-коричневая рубашка, расстегнутая на груди,— никакого официоза!.. Таким предстал перед нами Гарри Гаррисон, встреча с которым стала одним из самых ярких впечатлений от проходившего 22—28 августа в Будапеште IX конгресса писателей-фантастов. На фирменной визитке Гаррисона, там, где пишется обычно фамилия и страна участника, значилось одно слово: «Father» («Родоначалник»). Популярный во всем мире писатель имел право на такую экстравагантность: ведь именно он стал инициатором создания «Международной ассоциации писателей-фантастов» («Уорлд Сайнс Фикшн»), устав которой был принят на учредительной встрече в Дублине 26 июня 1978 года. С тех пор конгрессы «Уорлд СФ» собирались в разных странах, а в этом году местом проведения впервые стала столица социалистического государства.

Ассоциация объединяет не только писателей, но и критиков, переводчиков, художников, музыкантов — всех, чьи профессиональные интересы связаны с фантастикой. На сегодняшний день в ассоциацию входят 29 стран, в том числе и наша. На IX конгрессе «Уорлд СФ», о котором идет речь, присутствовало свыше 70 человек из 14 стран, если не считать его хозяев.

Наибольший интерес проявили к конгрессу Польша (18 участников) и СССР (17). Среди тех, кто представлял нашу страну,— председатель Совета по приключенческой и НФ литературе СП СССР Е. Парнов и его заместитель Н. Беркова, писатели В. Бабенко, Э. Геворкян, О. Ларионова, В. Михайлов, И. Мыныскуртэ, М. Пухов, И. Радунская, А. Тесленко, А. Шалимов, А. Щербаков, В. Щербаков, издатели, журналисты.

Были представлены на конгрессе Англия, Болгария, ГДР, Ирландия, Италия, Куба, Румыния, США, Чехословакия, Швеция, Югославия, Япония. Брайен Олдисс, Любен Диллов, Конрад Фиалковский, Ион Хобану, Норман Спирэд, Йозеф Несвадба, Сэм Льюндваль, Саке Комацу...

Программа конгресса была не обременительна и оставляла много времени на общение: доклады нынешнего президента ассоциации Джанфранко Вивиани и ее казначей Гарри Гаррисона, выступления представителей национальных делегаций, присуж-

дение призов (от Советского Союза награды «Уорлд СФ» за 1988 год получили Е. Парнов — «За независимость мысли» — и А. Мельников за достижения в области перевода НФ). Состоялись также встречи с делегациями Болгарии, ГДР, Польши и Чехословакии, отдельно — с Эриком фон Деникеном (с демонстрацией его фильмов). В трех кинотеатрах Будапешта прошла неделя фантастического кино — в ее рамках были показаны и советские ленты «Сталкер», «Солярис», «Письма мертвого человека», «Кин-дза-дза», выглядевшие, по мнению искушенных венгерских зрителей, вполне достойно на фоне мировой классики — «Метрополиса», «Космической одиссеи», «Е. Т.», а также нашумевших в последнее время американских фильмов «Трон» и «Бегство из Нью-Йорка». Наконец в помещении издательства «Ференц Мора», где проходили заседания, была развернута выставка НФ живописи (грех здесь не вспомнить добрым словом сотрудников издательства, так много сделавших для успешного проведения конгресса, и прежде всего — главного редактора журнала «Галактика» Петера Куцку).

Атмосфера конгресса — отсутствие чопорности, «заорганизованности», дружелюбие всех участников, их открытость, контактность, мгновенная и полностью адекватная реакция на шутки — чем-то напоминала заседание КЛФ (только о-чень большого...) или «Аэлиту» в Свердловске. Быть может, причина сходства НФ встреч в разных странах в том, что, говоря словами Сэма Льюндваля, «фантастика — самый интернационалистский литературный жанр, а те, кто ею занимается, интернационалисты в душе»...

Интересный доклад сделал Джанфранко Вивиани. Хорошо он говорил о необходимости повышения роли «Уорлд СФ» в мировом литературном процессе, расширения географического представительства ассоциации (вступление в нее в последнее время соцстран, по мнению президента, имеет большое значение), роста литературной критики, которую Вивиани назвал важнейшим фактором развития современной НФ. Но одно место в его выступлении радости нам не доставило — когда он, отмечая наиболее активных членов «Уорлд СФ», назвал Венгрию, Польшу, Францию, Японию, ни слова не сказав о нашей стране...

Справедливости ради должен заметить, что от выступлений некоторых представителей национальных делегаций повеяло до боли знакомым и родным: как-де все хорошо с фантастикой в этих странах!.. И когда такие ораторы призывали к братанию фантастов всех стран и народов, ни словом не обмолвившись, как сие должно происходить и что делают для этого они сами, то понево-

ле вспоминался герой из «Золотого тельника», который усиленно зазывал Остапа Бендера в гости, упирая на то, что «старушка-мама будет очень рада», однако адреса при этом не оставил...

Впрочем, таких выступлений было все же немного: в основном шел серьезный разговор о наболевшем. И прежде всего — о том, что современной фантастике грозит коммерциализация. Слушая Льюндваля, Спирэда, Саке Комацу, страстно обличавших засилье «нуль-фантастики» на книжных рынках Швеции, США, Японии — низкопробной, ориентированной на невзыскательного читателя (и воспитывающей такого же), мы вспоминали, конечно, свою «нуль-фантастику».

...Будапештская встреча позади. Каковы же ее уроки? Как мне кажется, главным для нас было следующее. Интерес к СССР, к нашей культуре, в частности и к фантастике, очень велик сейчас в мире — это ощущалось в ходе бесед и с писателями, и с издателями, и с читателями.

Меж тем советская НФ на Западе известна слабо (соцстраны не в счет, там немало людей, читающих по-русски), а проблемы ее явно приводили наших собеседников в недоумение, хотя они вежливо пытались его скрывать. Но в самом деле: почему в стране с почти трехсотмиллионным населением нет ни одного журнала фантастики? Почему в стране, занимающей ведущее место в освоении космоса, выходит меньше книг НФ, чем в иных слаборазвитых странах? Почему на Западе такой дефицит информации о состоянии советской фантастики? Как грустно пошутил В. Михайлов, такие-то (и — вроде них) вопросы мы и сами себе который год задаем...

Нет необходимости говорить, насколько полезен опыт будапештской встречи для нас. А зарубежные фантасты — что дают конгрессы ассоциации им? Я задал этот вопрос Брайену Олдиссу — и получил исчерпывающий ответ: «Уорлд СФ» предоставляет возможность не просто для дружеского общения (что само по себе необходимо), но и общения творческого, интеллектуального. Это встреча разумов. Сейчас, слава богу, меняется международная обстановка, напряженность ослабевает. Силы разума берут верх — и этому помогают международные мероприятия, подобные нынешнему».

Действительно, лучше не скажешь: встреча разумов...

**В. ГОПМАН,
г. Москва**



О чем предупреждал «Час Быка»...

В самом конце прошлого года и у нас, в Свердловске, на прилавке книгообменного магазина появилась, наконец, долгожданное переиздание «Часа Быка» — едва ли не лучшей книги Ивана Антоновича Ефремова, на протяжении 17 лет отлученной от читателя, многие годы не упоминавшейся даже в обзорах творчества писателя.

Притом — не просто переиздание, но — первое, в котором восстановлены купюры, без коих не обошлось в 1970-м.

Жаль, конечно, что книга эта моментально стала особо ценным объектом обменных операций. Но могло ли быть иначе! Тираж ее, выпущенный издательством Московского полиграфического института, микроскопически мал для огромной нашей страны: всего 75 000 экземпляров...

Однако будем верить, что это — лишь первая ласточка, за которой последуют другие. И веря в это, давайте читаемся в роман попристальнее — так, как это сделал в своем реферате наш читатель. Не для того только, чтобы понять — отчего так нежеланна была эта книга в годы застоя, но и затем, чтобы реальнее представить себе, с помощью И. А. Ефремова, тяжкое и истинно неприглядное наследие тех времен, которое нам надлежит преодолеть — в окружающем, в самих себе...

Роман «Час Быка» закончен в 1968 году, отдельной книгой вышел в 1970-м. Это было время «культурной революции» и расцвета культа личности Мао Цзедун в Китае. И. А. Ефремов описывает общество планеты Торманс (или Ян-Ях) как результат развития по пути капитализма или «лжесоциализма», причем на последний делается больший акцент. В романе много намеков на Китай (имена и названия, иероглифы, одежда, имя «величайшего гения» Цоам, являющее собою обратное прочтение Мао Ц., и многое другое). Имеются многочисленные прямые упоминания китайского «лжесоциализма». Создается впечатление, что автор намеренно и очень настойчиво старается внушить читателю: речь идет именно о том будущем, к которому идет маоцзедунистский Китай. При этом автор уравнивает тенденции

развития «лжесоциализма» и монополистического капитализма по пути к олигархии.

Можно предположить, что этот прием понадобился для преодоления возможных препятствий на пути книги к читателю. При внимательном чтении обнаруживаются многочисленные реалии нашей собственной действительности. Роман никогда не увидел бы света, если бы эти реалии не были переадресованы соседу — тем более нелюбимому, чем больше его история напоминала свою.

Впрочем, Ефремов одной фразой, сказанной вскользь, раскрывает свои намерения: «...Данте, хотя писал всего лишь политическую сатиру (Подчеркнуто мною. — В. Ч.)... создал картину многоступенчатого инферно».

Предлагаю постраничный — весьма неполный — перечень примеров сказанному (страницы романа указаны по изданию 1970 года). При этом следует помнить, разумеется, что все это относится прежде всего к стыку 60—70-х годов. И так...

28. Обилие лжи и дезинформации в печатных и ТВ материалах.

74. Повышенное внимание к выступлениям и поездкам вождей, очень редкое появление их перед народом.

80. Обстановка казенных митингов, организация так называемых «общественных протестов» и «гневных осуждений».

281. Иерархия, основанная на чинах и званиях.

287. Примитивная архитектура, небрежная постройка, большая звукопроницаемость зданий.

288. Непрерывный шум, невозможность уйти в себя.

289. Стремление граждан жить в столицах и изгнание из столиц в качестве наказания.

290. Повальное увлечение телевизором. Низкая квалификация большинства рабочих. Чудовищная невоспитанность детей. Всеобщая вещемания.

291. Полное отсутствие взаимной доброжелательности, давка в очередях.

296. Общественные собрания с публичным одобрением и восхвалением мудрости вождей.

297. Увлечение масс народа

спортивными играми немногих профессионалов.

299. Полное безразличие прохожих при уличных драках.

302. Неодобрение властями молодежной музыки. Частая трансляция восхвалительных и бодряческих песен.

304. Безразличие людей к официальной пропаганде. Лихачество водителей транспорта.

305, 354. Положение в медицине. Нищета госпиталей, нерадивость и грубость младшего медперсонала, тяжелое положение больных. Равнодушие врачей к боли и страданиям пациентов.

306. Иерархия и карьеризм, мелкие бытовые преимущества, сопровождающие карьеристское восхождение. Максимальные привилегии «змееносцев». Отрицательный отбор — «Стрела Аримана».

317. «Ученые Торманса очень много занимались отрицанием, словесно уничтожая то, чего якобы не может быть и нельзя изучать». (Вспомним генетику, кибернетику и другие лженауки 30—60-х)

318. Вызывающее поведение работников сферы обслуживания. «Тот, кого просили, издевался и куражился, прежде чем выполнить свою прямую обязанность».

337. «...Любой институт, театр, завод может быть назван именем великих, которые не имеют никакого отношения ни к науке, ни к искусству, вообще ни к чему, кроме власти».

341. Люди, многократно обманутые историей, «запутанными хитросплетениями политической пропаганды... Самые выразительные слова и заманчивые идеи превратились в пустые заклинания, не имеющие силы».

342. Специальный подбор людей в органы управления, якобы выборные.

345. Внешний облик сановников.

353. Ухудшение качества пищи, ее фальсификация, чем достигается иллюзия изобилия. Продажа продуктов низкого качества по цене высококачественных. Взгляд на художественную литературу (см. также стр. 378).

365. Надзор над искусством со стороны власти.

366. Вандализм жителей Торманса. «...Статистика под запретом».

374, 403. Картины городского транспорта, вечерней толпы. Усталые женщины с громадными продуктовыми сумками.

375, 376. Состояние науки. Равнодушие к работе, погоня за степенями. Развитие секретных НИИ, поглощающих лучшие научные силы.

384. Зависимость рядового гражданина от любого мелкого начальника, обычно скверного человека.

389. Извращение права гражданина на самозащиту. «Приходится отвечать за причиненные увечья, если бы на тебя даже нападали с ножом».

390. Допущение «крамольных» речей среди интеллигентов, как неопасных для власти средств психологической разрядки.

392. Слепая вера в силу науки. Огромный разрыв компетентности между учеными и остальным обществом.

399. Плиты и стены, покрытые назидательными изречениями (на манер наших лозунгов на карнизах домов). Полное равнодушие к ним людей.

402. Принцип «Мир для меня» в воспитании детей. Крик на каждом шагу: «Все лучшее — детям!» — воспитал множество эгоистов.

413. Резкие колебания в политике. Метания от одной крайности к другой в экономике. Преподнесение всего этого в качестве «мудрой политики» вождя — как цепь «непрерывных успехов»...

417. Отдельное снабжение питанием для «змееносцев», специальные продуктовые склады для них.

441. Сокрытие от народа инцидентов «наверху».

Конечно, нелепо и примитивно понимание романа в смысле полной аналогии советской действительности стыка 60—70-х годов с действительностью китайской времен Мао Цзедуна.

Приведенные примеры весьма различны по степени проявления в нашем обществе. Одни — на каждом шагу, другие — чуть намечены. Но «Час Быка» — роман-предупреждение. Вводя реалии жизни нашего государства в описание inferнального общества, И. А. Ефремов указывает на опаснейшие тенденции, на бездонные inferнальные пропасти, лежащие справа и слева от пути по «лезвию бритвы».

Оценить все социально-философское богатство романа можно только прочитав и перечитав его.

Читатель не запутается в дебрях: ведь Эрф Ром пишет так понятно...

В эпоху перестройки роман «Час Быка» заслуживает переиздания **МАССОВЫМ ТИРАЖОМ.**

В. ЧИСТЯКОВ,
г. Каменск-Уральский

Летят... А зачем?

В декабрьском обзоре ответов на последнюю викторину мы обещали читателям, что непременно напечатать в этом году хотя бы по одному реферату из числа присланных на вопросы третьего тура. Наполнине свое обещание мы уже выполнили, поместив в предыдущем номере исследование С. Иванова и В. Черника. Держа на этот раз свое слово до конца, публикуем реферат и по второй теме тура: зачем летают в космос герои НФ произведений!

Попробуем систематизировать цели полетов в космос.

Прежде всего хочу очертить границы понятия «цели». Не стоит путать цели человечества в целом и цели отдельных личностей. Это разные понятия как по размаху, так и по мотивации. Вопрос викторины я понимаю однозначно — изучить цели отдельных личностей.

Ввожу принцип систематизации: эволюция движения человечества в космическое пространство. Кроме того, я надеюсь на эволюцию самого Человека.

Итак, предлагаемые уровни: нулевой уровень: абсолютная бесцельность, человечество еще и не вышло в космос;

1-й уровень: робкие первые попытки выхода в космическое пространство;

2-й уровень: ближний космос освоен, встала задача полетов дальше;

3-й уровень: космос стал обычным местом приложения сил человечества, научным полигоном;

4-й уровень: космос требует приложения сотен тысяч рук для освоения и колонизации;

5-й уровень: в космос может лететь кто угодно и куда угодно, Космос — подобие Земли;

6-й уровень: освоены немислимые прежде пространства, галактика, космос становятся постоянным местом обитания человека;

7-й уровень: перерождение «человека земного» в «человека космического».

А теперь — подробнее...

Нулевой уровень. Герои попадают в космос помимо их желания, цели полета просто нет. В повести Стругацких «Извне» человек похищен с Земли автоматический собиратель животных для зоопарка —

ясно, не земного производства. В повести К. Боруня «Восьмой круг ада» с планеты вывозят средневекового мракобеса отца Модестуса.

1-й уровень. Появляется всего одна профессия — космонавт (астронавт). Представители этой профессии и пилотируют корабли, и выполняют все исследовательские работы. Здесь можно привести целый веер произведений ранней фантастики, начиная с Г. Уэллса («Первые люди на Луне») и А. Толстого («Аэлита»). Повторяю, цели первых космонавтов — вывод в космическое пространство летающего аппарата и, по возможности, исследование увиденного.

2-й уровень. Так же, как на Земле появились пилоты-авиаторы, в космосе формируется класс пилотов, которые желают заниматься исключительно пилотажем космических кораблей. Здесь характерен пример героя рассказа «Небо, небо...» Э. Рассела.

3-й уровень. И вот построены космические корабли, готовы пилоты. К звездам устремляется класс людей, которых мы назовем — десантники. Это люди самые-самые. Бесконечное здоровье, бесконечная отвага, жажда схватки с неведомым, интуиция вкупе с мужеством. Это десантники с «Лунной радуги» С. Павлова, герои «Страны багровых туч» Стругацких, «Пограничник» А. Балабухи. Их цели: решая общечеловеческие задачи, пробовать на зуб неведомое.

Кроме десантников, в первых рядах человеческого потока в космос, конечно, идут исследователи, ученые. Их цели: исследовать все неизвестное с позиций их частных наук. Их щит — любопытство. Биологи исследуют повадки астероидов в рассказе В. Колина «Парчовая скала». Психолог Крис Кельвин в «Солярисе» С. Лема летит изучать проблемы самих исследователей. Физики создают и обкатывают новые способы перемещения в пространстве («Странник» П. Амнуэля, «Чердак Вселенной» С. Павлова), контактеры бьются о непонимание чужого разума («Посол на Проклятую» К. Кэппа).

4-й уровень. Тысячи людей выходят в космос. Уже не только десантники и ученые, но сотни других самых разных профессий необходимы в космосе. У них уже трудно выделить какие-то особые цели, есть задача — делать свое дело, которое любишь и умеешь хорошо де-

лать. Теран Лэпрад — геолог («Горы судьбы» и «Львы Эльдорадо» Ф. Карска). Кто-то собирает коллекции животных («Зверолювы» Р. Сильверберга) или минералов («Одержимость коллекционера» Р. Желязны). Ремонтники чинят маяки на других планетах («Ремонтник» Г. Гarrisона). Пилот Пиркс («Дознание» С. Лема) проверяет роботов в качестве экипажа космолетов. Даже клоун делает свое дело в космосе («Немного смазки» Э. Рассела).

5-й уровень. В космос может попасть кто угодно. Здесь мы наблюдаем весь спектр человеческих желаний, страшишек, целишек, проблем. Люди бегут в космос от проблем Земли («Пустыня» и «Налогоплательщик» Р. Брэдбери). С помощью полета в космос герой пытается решить свои любовные проблемы («Парадокс» Д. Хернади). Иные соглашаются на полет ради заработка («Рассказ Пиркса» С. Лема). По космосу шляются проходимцы, жулики, авантюристы («Особый старательский» и «Абсолютное оружие» Р. Шекли, «Поющий колокольчик» А. Азимова, «Неукротимая планета» Г. Гarrisона). Пожалуй, самая «милая» компания в этом ряду — потенциальные убийцы из рассказа У. Тэнна «Срок авансом»: дальше уже некуда.

6-й уровень. Космос освоен, всюду колонии землян, пространство уютножат армады кораблей. Появляется новый тип людей, для которых летать в космосе — значит жить. Такая вот скромная цель — просто жить... Первый среди космических постояльцев — бард Райслинг («Зеленые холмы Земли» Р. Хайнлайна). Не знает жизни на Земле рожденный в космосе («Родина этеллита» Е. Нагорнова). Трудно себе представить космос, в котором бы не торчал постоянно Ийон Тихий С. Лема.

7-й уровень. Человек превращается в Монокосм, существо бесконечно могучее в отношении как пространства, так и времени. Человек — демиург, творец гигантского масштаба. Космос для него не враждебный мир, а дом. В романе К. Саймака «Что может быть проще времени» перед человеком вдруг открывается Вселенная — как доступностью любой ее точки, так и бесконечностью ее познания.

Суперженщина Виола из повести А. Дмитрука «Летающая» принимает образ человека во плоти лишь на время. Она вне времени (возраст — 1000 лет) и вне плоти.

И наконец, вершина человеческой эволюции: «людины» из повести Стругацких «Волны гасят ветер». Цели их выходов в космос, да и самой жизни, бесконечно туманны и загадочны.

Б. МОКРОПОЛОВ,
г. Пермь

Пусть сначала будет слово

НФ литература в последние годы пропахла порохом и выхлопами иногo экзотического оружия. Добро выносят в мир на кулаках. Очень редко звучит мысль о том, что самые ожесточенные бои происходят в душах — когда в разумном существе рождается личность. Об этом — новый роман Зиновия Юрьева «Повелитель эллов» (М.: Молодая гвардия, 1988). На фоне вольно взметнувшихся космических опер роман выглядит камерно и как-то очень тепло. Хотя в нем тоже описаны жертвы, но орудиями убийства служили камни, которые, при наличии уже неоднократно описанных галактически масштабных средств уничтожения, кажутся наивными и патриархальными. А ведь за этими смертями скрыты страсти нешуточные.

На планету Эллиния приглашается дрессировщик Юрий Шухмин для оказания помощи цивилизации эллов: стали пропадать отдельные ее представители. Казалось бы, ситуация весьма схожа с описанной в романе З. Юрьева «Дарю вам память». Но пирожок оказался с иной начинкой! В «Повелителе эллов» моделируется общество разумных существ, говорящих о себе «мы». Это «мы» эллов не составлено из «я». Их Семья не имеет в своем составе индивидуумов, даже мыслят они сообща. Как же хрупко, жалко, в конечном счете беззащитно общество эллов! Однако и в такой Семье невероятно трудно вычленишься из безымянного «мы» в элла с именем, и каких же мук стоит обретение «я», ведь так соблазнительно, когда думают «мы», то есть не думает никто! И везде, и все в романе двигает слово. Правдивое чепредрезанное слово. Искренни эллы, старающиеся сохранить «мы», честны очень разные эллы, обретенные индивидуальности. Таков и посол Земли Юрий Шухмин — простой советливый человек.

Но роман вышел бы однобоко сусальным, если бы не была упомянута ее величества Демагогия. Носителями принципа правления, основанного на посулах пряника, являются в романе древние роботы, оставшиеся от праивилизации индивидуалистов эбров (тоже черточка в ткани романа). Роботы разлагольствованиями о благе народа эллов подбивают другую разумную расу планеты, корров, на похищение эллов: дабы Семья лишилась стабильности. Роботам нужно завладеть древним источником энергии, рядом с которым поселились эллы. Поэтому

они и стравливают корров и эллов. Впрочем, с роботами тоже не все так просто...

Ах, как все узнаваемо! Прятки за «мы», объявление убийства себе подобных актом борьбы за их же, жертв, счастливое будущее...

Книга завершается в тот момент, когда все три разумные расы планеты Эллиния стоят на пороге нового бурного периода своей истории. Какое совпадение! Прямо как у нас.

Л. ЛЕЖНИН,
г. Свердловск

Пахомий в XX веке

В современной фантастике и взрослые, и дети прямо-таки шныряют по векам взад и вперед, то пытаются что-то изменить в прошлом, то просто так — погладить на будущее, из любопытства. Между тем еще в начале нынешнего века писатели-фантасты гораздо почтительнее обращались с четвертым измерением.

Одним из таких произведений была «Повесть временных седмиц» Владимира Петровича Гожева — писателя и журналиста, известного в свое время театрального деятеля, подлинная фамилия которого — Погожев.

Занимательная эта книжка вышла в 1904 году — 85 лет назад. Герой ее, летописец Пахомий Кремень, во время вторжения войск Лжедмитрия оказался заваленным обрушившейся стеной монастыря. И только в начале XX века летописца отыщут и оживили. С удивлением наблюдает он чудеса окружающего мира... Повесть ловко стилизована под древнюю летопись: автор описывает атрибуты современного мира языком XVII века, исходя из житейского опыта человека того времени. Пораженный возросшим темпом жизни, летописец называет свое сочинение «Повестью временных седмиц» (то есть недель) — в противовес знаменитой «Повести временных лет»...

В книжке налицо все реалии XX века — вплоть до шахматных турниров, вплоть до покушения террористов на «шпанского короля». Налицо даже и мягкая критика: «А что прежде приказы были, ныне рекут министерства, а дела все тем же обычаем вершат»... Или еще: «А ноне против прежнего сто крат больше пишут, и с лета на лето борзее»...

Т. ХАРЛАМОВ



Алексей
РЕШЕТОВ

НЕВЫДУМАННАЯ ПОЭМА

Памяти
Льва Давыдычева

Рассказывать об этом тяжело:
Никто не верит — бабушкины сказки.
А я и вправду видел НЛО —
Большое блюдо огненной окраски.
Оно летело над землей вверх дном
И, словно солнце, скрылось
за холмом.

Не чую ног, я бросился вперед:
Неужто это инопланетяне?
И вот опять увидел звездолет
У маленькой речушки, на поляне.
Открылся люк. И вышло из него
В сверкающем скафандре существо.
Не может быть, мне разум

говорит, —
Все это сон, фантастика, нелепость.
Но предо мной, теперь уже без
шлема,

Космическая женщина стоит!
Едва ли я как следует сумею
Воспеть ее небесные черты.
Ни в жизни, ни в картинной галерее
Я не встречал подобной красоты.
В ее больших фасетчатых глазах,
То карих, то индиговых, то серых,
То возникал, то снова исчезал
То теплый свет, то леденящий

сердце.

— Кто ты такой? — она меня
спросила.

— Я человек, я житель этих мест.
А все вокруг Земля моя, Россия,
И этот лес, и этот темный крест.
Там матушка родимая лежит,
Над нею время вечно кружит...

— Ты веришь в бога?
— Я пытаюсь верить,
Увы, не так, как верят старики.
Но иногда мне некому доверить
Своей тревоги, страха и тоски,
А если ты на свете одинок,
Тебя поймет, тебе поможет Бог.
— Ты знаешь страх? Чего же ты
боишься?

— Боюсь всего — таков уж наш удел.
Боюсь, что ты ко мне не
возвратишься,
Что твой корабль случайно
прилетел.

Еще одна причина есть для страха:
Я жизнь свою туманную прожил,
Не нынче — завтра стану горсткой
праха.

А добрых дел почти не совершил.
А ведь в мечтах

мы головы положим
И души растерзаем пополам,
Но никогда

Вселенной
не предложим
Колымский путь, что был дарован
нам.

— Но ты же благодарен был судьбе,
Что человеком на Земле родился?
Ступай за мной. Я покажу тебе
Свою Звезду, чтоб очень не
гордился.

И я, как мальчик, поспешил за ней.
Она вдали смеялась и светилась.
И все-таки какая-то немилость
Чужих планет
была ее сильней.

Но вот она ко мне поворотилась,
И не было печальней и нежней.

И мы вошли в серебряный отсек.
И прозвучало:

— Здравствуй, человек!
Ты видишь лучезарное пятно?
Там жить тебе отныне суждено.
— Но я же не смогу, я затоскую.
Тебе, всемогущей, это не понять.
Всю жизнь свою к родной земле

взыскую,

Хотя мне очень хочется летать.
— Вы, люди, не родные близнецы
Камней, деревьев, темноты и света.
Им ясно все. Вам не дано ответа.
Они — провидцы. Вы — полуслепцы.
Мы — Вечный Разум, Вечная Душа —
Стоим над вами, Высший суд верша.
О, не печалься и не прекословь,
Ведь мы не льем себе подобных

кровь.

Ты сам увидишь — зависть и вражда
У нас давно исчезли навсегда.

— Нет, — я сказал, — траву родных
могил

Мне не забыть. На то не хватит сил.
— Возьми с собою горсть своей
земли.

Мы — здесь и там. Наш лик
непознаваем.

Мы, неземляне, истину нашли,
Но до поры до времени скрываем.
Мы дали вам и хлеб, и молоко,
И теплый кров, и сладкий звук

свирили,
Хоть сделать первый шаг и нелегко,
Но сколько оставаться в колыбели?
— Нет, не хочу в нездешние края.
Да станет гробом колыбель моя!
— Ну что ж, прощай, убогий

человек,
Живи своим иллюзиям в угоду.
Дремли себе, не поднимая век
На истину, на высшую свободу.
Прощай же. Сам себя ты осудил
На смерть своим земным

существованьем.
Вся жизнь твоя с рожденья до седин
Была ничем иным, как умираньем.

Но тут коснулось локтя моего
В сверкающем скафандре существо:
— Я не хотела прилететь сюда,
Но хочешь, я останусь навсегда?
Я перейму черты твоих подруг,
Я полюблю и этот лес, и луг.

О, не печалься, мой названный брат,
Я буду тень твоих земных утрат,
Я стану не бессмертна, а стара...

Но прозвучало:
— Конечно! Пора!
— Постой! Но что за истина дана
Тебе?

Скажи, чтоб людям легче было!
Куда же вы?
Но черная стена
Возникла вдруг и нас разъединила.

Очнулся я в больничной тишине,
Не понимая, что со мной творится.
Сестра питье давала с ложки мне,
И я подумал: «Славная сестрица».
Какой-то седозласый человек
Сидел на табурете у окошка
И все вздыхал, что вот уже и снег,
А у него не копана картошка.





ВСЕ —

В КОСМОС

Когда ликующая Москва встречала первого космонавта Земли, на самодельных плакатах чаще других появлялись слова: «Все в космос!» 28 лет назад мы искренне верили, что пришел всеобщий черед. Однако первые шаги космонавтики показали, насколько труден и опасен этот путь. Небольшой отряд первопроходцев стал закаленным полком профессионалов. И редко прибывало этого полку... Мы утвердились в мысли, что так и должно быть, и так будет долго. Впрочем, не одно только это нам было приказано воспринимать как данность, застывшую на многие лета... Но закономерно весной сменяется зима, и весной 1985-го начался ледоход, а льдины все еще плывут, отчаянно цепляясь за замороженные берега...

Мы отучили детей мечтать. Сегодня редкий школьник собирается, подобно сыну моему, стать космонавтом. Воспитанные нами юные рационалисты четко понимают малоперспективность и труднодоступность этой мечты. Мы им втямьшили такое понимание, то обрушиваясь на фантастику, то авторитетно разъясняя, что компьютер помешает заучивать наизусть таблицу умножения, а космическая техника — стражайший государственный секрет, как будто есть необходимость прятать свой велосипед от соседа, разрезающего на «кадиллаке»...

Мы импортчили — нам исправлять. В ноябре 1988 года в СССР, подобно другим развитым странам, создано Всесоюзное молодежное аэрокосмическое общество «Союз». Перед тем ЦК ВЛКСМ, Федерация космонавтики СССР, Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина через центральную печать вынесли на обсуждение проблему: кто будет заниматься космическими исследованиями в XXI веке? Оказалось, у нас нет ориентации на связанные с космосом профессии, да и самих таких специалистов мало кто готовит, кроме МВТУ имени Баумана. Позакрывались массовые когда-то кружки ракетомоделизма, зачали клубы юных космонавтов, лишённые элементарных тренажеров и пособий, без которых оставалось только хором выводить про яблоны на Марсе... Тем временем американские, французские, японские сверстники наших детей вовсю крутили рычаги натурального «шаттла», прокладывая на дисплеях лунные и марсианские курсы космических кораблей...

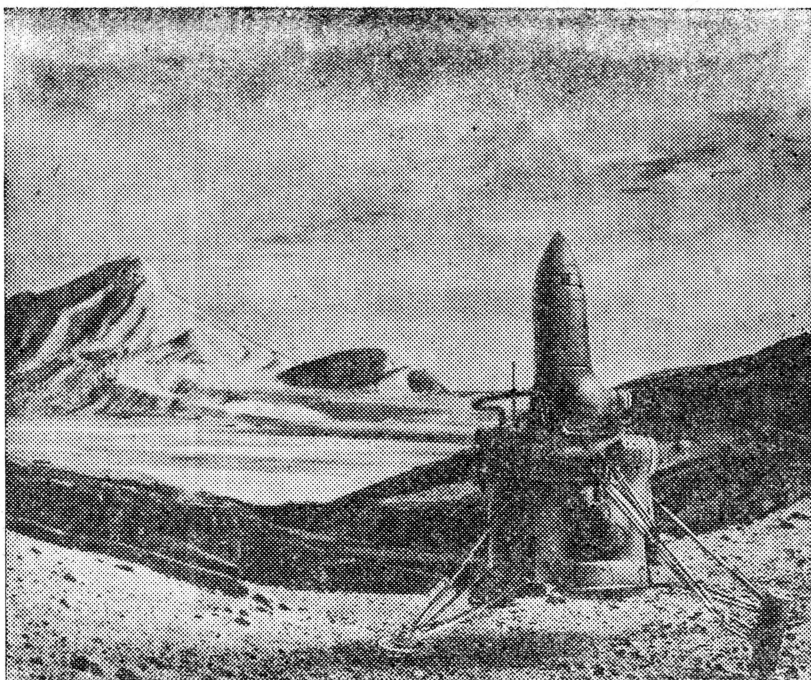
На заре Советской власти одной из первоочередных ее задач была забота о беспризорных детях. Дети — наше будущее. Не оставляем ли мы наше будущее беспризорным? Революция перестройки вернула наше внимание к насущной задаче, начав реформу образования и воспитания. ВАКО «Союз» — один из ростков этой перестройки.

Вступить в «Союз» может каждый. Задумано создать его отделение и на Среднем Урале, этим занимается сейчас Свердловский обком ВЛКСМ. Заявки можно посылать и в нашу редакцию.

Всем миром мы можем помочь «Союзу» обрести материальную базу. Для этого открыт счет № 700297 в Операционном управлении Жилсоцбанка СССР.

Клубы любителей фантастики могли бы активно сотрудничать с «Союзом».

С. КАЗАНЦЕВ,
член секции пропаганды
среди молодежи
Федерации космонавтики СССР
Гонорар перечисляется на счет
№ 700297



Для академика РОАЛЬДА ЗИННУРОВИЧА САГДЕЕВА РАЗГАДКИ ТАИН МИРОЗДАНИЯ — ДЕЛО ВПОЛНЕ КОНКРЕТНОЕ. ДИАПАЗОН ЕГО НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ОЧЕНЬ ШИРОК: АТОМНОЕ ЯДРО, ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ФИЗИКА КОСМОСА — МИКРОМИР И МАКРОМИР... ПРИ ЭТОМ ОН УМЕЕТ ВИДЕТЬ СВЯЗИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С НАШИМИ КОНКРЕТНЫМИ НУЖДАМИ.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА» — ПРЕМИЯ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ БЫЛА ПРИСУЖДЕНА Р. З. САГДЕЕВУ ЕВРОПЕЙСКИМ КОСМИЧЕСКИМ АГЕНТСТВОМ В 1987 ГОДУ.

ПУБЛИКУЕМ ИНТЕРВЬЮ, КОТОРОЕ ЛАУРЕАТ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ, ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АКАДЕМИК Р. З. САГДЕЕВ ДАЛ ЮРИЮ ЗАЙЦЕВУ.

ЛАБОРАТОРИЯ- ВСЕЛЕННАЯ

— Космические исследования. Они включают фундаментальные исследования и решение практических задач. Какие достижения по обоим направлениям Вы хотели бы отметить?

— На мой взгляд, главная задача космической науки — развитие фундаментальных исследований, т. е. использование космических средств и методов для открытия и познания наиболее общих, универсальных принципов и закономерностей Вселенной, которую можно рассматривать как гигантскую естественную лабораторию. Фундаментальные исследования нужны и как база развития самой космонавтики, и как источник принципиально новых идей для других областей науки и практики. Только так можно, в конечном счете, получить практический эффект — неизмеримо более крупный, чем при нацеленности на узкую задачу...

Но я далек, конечно, от того, чтобы недооценивать ту колоссальную практическую отдачу, которую мы уже сегодня имеем от космических исследований. Спутники связи соединили континенты и позволяют передавать телевизионные изображения на огромные расстояния. Без метеорологических спутников невозможно представить себе современную службу погоды и, следовательно, деятельность целых отраслей народного хозяй-

ства. Привычным делом стало использование космических аппаратов для навигации, из космоса идут сигналы оповещения о терпящих бедствие и т. д. и т. п. По существу, космонавтика последнего десятилетия превратилась в отрасль народного хозяйства и это определило характер ее развития.

В ближайшие годы космическая техника найдет еще более широкое практическое применение. Сейчас остро встали такие глобальные проблемы, как истощение природных ресурсов планеты, эрозия земной поверхности, сокращение растительного покрова, загрязнение окружающей среды и т. д., а для их решения больше всего приспособлены космические технологии. Кроме того, космос открывает возможности использования новых источников энергии, создания новых материалов, в том числе для медицины и биологии, налаживания ряда производств с использованием условий глубокого вакуума и невесомости.

Что касается наиболее важных результатов космической науки и практики, то сегодня трудно выделить какие-либо из них. Будущее покажет, какое место они займут в золотом фонде достижений человечества.

— В нашей Галактике около 100 миллиардов звезд. Тысяч семь из них можно видеть невооруженным глазом, значительно больше — в телескоп. Вместе с тем достаточно хорошо известна единственная планетная система — Солнечная. Есть ли какая-то надежда объяснить эту загадку? И не в этом ли ключ к происхождению жизни на Земле?

— Наше Солнце — средняя и ничем не выделяющаяся звезда во всех отношениях, кроме одного — это действительно единственная звезда, о которой известно, что она окружена планетами.

Запуск спутников с инфракрасными (ИК) телескопами на борту, в совокупности с наземными наблюдениями ИК-приборами, позволили в общих чертах установить сценарий образования звезд. Один из главных выводов, к которому пришли ученые: возникновение планет — не какое-то уникальное событие, а, скорее всего, часть процесса рождения звезды. Следовательно, в Галактике должно быть много планетных систем, но наблюдать их очень трудно, т. к. звезды значительно больше и ярче окружающих их планетных систем. Например, планета земных размеров, обращающаяся вокруг звезды типа Солнце — Тау Кита на расстоянии всего 10 световых лет от Земли, имела бы в 10 миллиардов раз меньшую светимость, чем светимость самой звезды, а угловое расстояние планеты от звезды при наблюдениях с Земли составляло бы лишь одну четвертую угловой секун-

ды, т. е. около десятитысячной доли видимого диаметра Луны.

Решение проблемы поиска других планетных систем ученые связывают с выведением в космос новых астрономических инструментов.

Наблюдение звезды Бета Живописца при помощи специального коронографа, предназначенного для обнаружения слабых гало вокруг ярких объектов (например, колец Урана), при шестиминутной экспозиции позволили выявить у этой звезды видимый с ребра диск вещества, яркость наиболее темных частей которого в 100 миллионов раз меньше светимости самой звезды. По-видимому, этот диск состоит из обломков, напоминающих астероиды и кометы Солнечной системы. Короче, можно ожидать, что в ближайшем времени — ближайшем по космическим понятиям — через миллион лет из этих обломков произойдет образование планеты. А может быть, они там уже есть — этот вопрос пока остается открытым.

— Жизнь во Вселенной. Как Вы думаете, есть ли она еще где-то и будет ли установлен контакт с другими цивилизациями?

— Идея о существовании разумной жизни в других уголках Вселенной будоражит воображение людей как минимум две с половиной тысячи лет. Проблема эта оставалась тем не менее чисто умозрительной вплоть до середины нашего века, когда были сделаны первые попытки обнаружить сигналы искусственного происхождения из космоса. Создана программа поиска внесемных цивилизаций. Но вот уже прошло почти тридцать лет, а положительных результатов нет, и оптимизм заметно поугас.

Однако и методы поиска еще недостаточно совершенны. Сейчас и в нашей стране, и за рубежом идет разработка новых систем радиотелескопов. Планируются программы, которые в ближайшие 10 лет позволят узнать по этой проблеме гораздо больше, чем за всю предшествующую историю. Если нам удастся обнаружить «братьев по разуму», то это будет величайшее открытие! Но если даже после усиленных поисков мы придем к выводу, что наша цивилизация — одна из немногих, если не единственная в Галактике, то это тоже будет очень значительно. Сознание уникальности человечества в Галактике с ее сотней миллиардов звезд поможет осознать всю важность его существования и необходимость безусловного сохранения в грядущем.

— Время от времени печатя и телевидение подбрасывают сенсационные материалы относительно «следов» космических пришельцев на Земле. Как Вы относитесь к таким публикациям и заявлениям?

— Если вы имеете в виду НЛО (неопознанные летающие объекты),

то поводом для «тарелочного бума» послужило сообщение в 1947 году американского бизнесмена о странных блестящих предметах, которые он видел с борта самолета. В ряде стран тратились значительные средства для обработки поступающей информации о возможных НЛО. Сейчас эти исследования сократились и ведутся большей частью группами энтузиастов. Ученые же пришли к выводу, что хотя трудности в определении природы некоторых явлений есть (около 10 процентов из всех наблюдаемых объектов не могут пока найти однозначного объяснения), но нет ни одного неопровержимого факта существования НЛО.

— Сент-Экзюпери сказал однажды: «Самолет — это машина. Но какое орудие познания!» Что бы Вы могли сказать в этом плане о космических аппаратах, специально предназначенных для астрономических наблюдений?

— Телескопы, установленные на борту космических аппаратов, намного расширили возможности астрономических наблюдений. Перед учеными раскрывается картина сложного мира, гораздо более удивительного, чем предполагалось еще не так давно, мира грандиозных и не всегда понятных явлений, о которых ранее и не подозревали.

У нас создаются крупнейшие орбитальные обсерватории. Установленным на них телескопам, электронной аппаратуре с автоматизированной обработкой данных позавидуют и многие наземные обсерватории. Одна из таких космических обсерваторий — «Рентген» — работает в настоящее время на орбитальной станции «Мир».

Назначение обсерватории видно из ее названия — исследование рентгеновского излучения далеких объектов. Это излучение возникает в «котле» атомных и ядерных превращений, протекающих при температурах, по крайней мере, в полмиллиона градусов. Для сравнения напомним, что видимый солнечный свет излучается поверхностью, нагретой «всего лишь» до пяти с половиной тысяч градусов. Таким образом, в рентгеновском диапазоне можно исследовать свойства вещества в экстремальных физических условиях, недостижимых на Земле.

Планы советской космонавтики? Запуск нескольких автоматических обсерваторий. В первой половине 1989 года планируется вывести на орбиту высотой 300—400 км крупнейший в мире гамма-телескоп, который будет вести наблюдения в самом жестком диапазоне излучений, где энергия достигает десятков миллионов электрон-вольт.

Процессы, в ходе которых рождаются частицы с такой энергией, по-видимому, лежат в основе «жизнедеятельности» звезд и ядер галактик, происходят при звездных вспышках и во время взрывов галактических

ядер, управляют окружающим нас миром и, в конечном счете, определяют развитие Вселенной.

Летом 1989 года на орбите должна появиться еще одна автоматическая космическая рентгеновская обсерватория «Гранат». Она создавалась совместными усилиями советских, французских и болгарских ученых.

Ведутся работы над проектом рентгеновской обсерватории нового поколения «Спектр-Рентген-Гамма». Одним из основных инструментов этой обсерватории станет советско-датский телескоп-концентратор, в котором используется оптика «косого падения» — ведь рентгеновские лучи нельзя сфокусировать, как свет в оптических телескопах, поэтому их «сводят» с помощью вложенных друг в друга конусов — зеркал. Суммарная площадь поверхности рентгеновских зеркал двух идентичных телескопов, установленных на борту космической обсерватории, составит 130 квадратных метров. Чувствительность телескопа в 20 раз превышает чувствительность аппаратуры, которая была установлена на американском астрономическом спутнике «Эйнштейн» и могла работать лишь в мягком диапазоне рентгеновского излучения. Неудивительно поэтому, что ученые ожидают от новой космической обсерватории массу «свежих новостей», возможно, и совершенно неожиданных.

Планируется также создание наземно-космической радиосистемы, которая по своей эффективности будет эквивалентна гигантскому радиотелескопу с диаметром антенны более миллиона километров. Радиосистема — ее называют интерферометром — будет состоять из работающих синхронно космических антенн, выводимых на различные орбиты, и крупных наземных радиотелескопов: система образует гигантское радиозеркало. И чем больше будет расстояние между антеннами, тем выше угловое разрешение всей системы, т. е. острота зрения — способность различать на гигантских расстояниях близко расположенные друг к другу небесные объекты, излучающие радиоволны.

— Космос бесконечен. Но вот «ближний» космос в определенной мере уже «перенаселен». На земных орбитах сейчас находятся тысячи разнообразных аппаратов, станций, спутников, их фрагментов. Не пришло ли время всерьез побеспокоиться об экологической чистоте околоземного космического пространства?

— Действительно, со времени запуска первого спутника в 1957 году околоземное пространство становится все более насыщенным объектами искусственного происхождения. На середину 1988 года на околоземных орбитах находилось около 1750 спутников и пять с половиной тысяч крупных объектов, включая элемен-

ты последних ступеней ракет-носителей. К этому следует добавить огромное число мелких частиц, образовавшихся вследствие преднамеренных или случайных взрывов последних ступеней ракет, космических аппаратов или их отдельных элементов. Сейчас вблизи Земли на высотах от сотен до немногих тысяч километров находится, вероятно, около 50 тысяч объектов искусственного происхождения поперечником в 1 см и больше. Столкновение с подобным искусственным метеоритным телом представляет для космического аппарата большую опасность.

Что же касается частиц искусственного происхождения поперечником 0,01—0,1 мм (в основном продукты истечения твердотопливных ракет двигателей, кусочки краски), то их в окрестностях Земли может быть уже от 10 миллиардов до тысяч триллионов. Серьезные повреждения космическим аппаратам они нанести не могут, но оказывают вредное воздействие на солнечные батареи, теплозащитные покрытия, оптику.

В целом, однако, ситуация не столь угрожающая, как это может показаться.

Во-первых, даже на высотах в сотни километров сказывается тормозящий эффект земной атмосферы (особенно он заметен для малых частиц), и вскоре все эти искусственные небесные объекты попадают в ее плотные слои и сгорают.

Во-вторых, увеличивается число «долгоживущих» спутников, способных выполнять свои задачи в течение длительного времени. Соответственно уменьшается потребность в большом количестве запусков.

В-третьих, благодаря совершенствованию космических транспортных средств и самих космических аппаратов снижается «лишняя» масса, выводимая на орбиту.

Существенно улучшает ситуацию использование аппаратов возвращаемого типа, многоразовых транспортных систем, а также преднамеренный ввод космического аппарата в плотные слои атмосферы в конце срока его активного существования.

Правда, в ближайшие годы обстановка в околоземном космосе может резко измениться к худшему. Это случится, если США в соответствии с планами «стратегической оборонной инициативы» начнут обширные испытания средств уничтожения космических объектов.

— Как Вы считаете, не создаст ли в результате запусков космических ракет угроза для земной атмосферы? Ведь количество стартов с каждым годом растет, увеличивается мощность ракет-носителей...

— Действительно, кому не приходилось слышать после очередного космического старта: «Опять небо продырявили... Погода испортилась...» Может быть, именно в запусках

спутников причина аномальных погодных процессов последних лет?

Сами по себе космические аппараты имеют относительно небольшие размеры. Энергия, затрачиваемая на их запуск, не столь велика, чтобы нарушить энергетический баланс атмосферы и вызвать в нем изменения. Она равна одной стомиллионной части энергии движения циклонов и антициклонов.

Правда, от сгорания космических летательных аппаратов в верхних слоях атмосферы образуется слой распыленных частиц — аэрозолей. Они могут повлиять на отражательные свойства атмосферы, уменьшить приток тепла к поверхности Земли, но очень несущественно по сравнению с другими факторами воздействия человека на окружающую среду. Масса аэрозолей, образовавшихся при сгорании космических аппаратов, не составляет и трех тысячных доли всех аэрозолей, выбрасываемых в настоящее время в атмосферу в результате хозяйственной деятельности человека. Да и химические «допинги», меняющие химический состав атмосферы, имеют, конечно, в основном антропогенное происхождение, но отнюдь не «космическое».

Вывод о влиянии спутников на погоду и климат должен основываться на строгой научной статистике. Такая статистика не дает никаких фактов, свидетельствующих о какой-либо связи метеорологических процессов с запусками космических аппаратов. Случайные же совпадения приводят к неправильным выводам.

— Артур Кларк, английский ученый и фантаст, составил таблицу ожидающихся достижений человека. Он отнес к 2000 году заселение планеты. По всей видимости, он ошибся. А каковы Ваши прогнозы насчет переселения человека на другие планеты?

— Говорить сейчас о заселении других планет мне представляется несколько преждевременным. Давайте поставим сначала задачу высадить на Марс космонавтов. Прекрасно, если это будет интернациональный экипаж из представителей двух или даже нескольких стран. Моя сокровенная мечта — осуществить это к 2001 году. Пусть этот проект стал бы «космической одиссеей», как предлагал Артур Кларк. Недавно я видел его, и он уверял меня, что в это время будет жить и находиться в хорошей форме.

Однако более реалистичным сроком высадки человека на Марс представляется год 2005-й. Вообще, мне кажется, не нужно торопиться с пилотируемыми полетами и считать, что это главный, приносящий плоды путь изучения космоса. Романтическая точка зрения, согласно которой огромный космический аппарат с людьми на борту — единственно приемлемая величественная картина космической

экспансии человека в будущем, на мой взгляд, не совсем правильная. Столь же романтична посылка в дальний космос умных роботов. И она более практична.

— Сейчас много говорят о возможной советско-американской экспедиции на Марс. В 1988 году стартовали автоматические межпланетные станции по международному проекту «Фобос». Международное сотрудничество. В чем его преимущество? В чем трудности?

— Идея международного научного сотрудничества мне особенно близка, поскольку на протяжении почти всей мировой профессиональной деятельности оно было благотворным для меня. Начиная с конца 50-х годов я вхожу в международное научное сообщество. Со своими коллегами мы сопоставляем результаты исследований, обмениваемся визитами, становимся друзьями. Моя семья училась говорить по-английски, и сейчас даже мой четырехлетний внук говорит на двух языках.

Значение научного сотрудничества хорошо иллюстрируют слова Фрейда: «Когда люди совместно владеют чем-то, у них меньше шансов враждовать». Даже мрачный юмор ядерного века отражает эту мудрость. В 1986 году, когда советские аппараты «Вега» прошли примерно половину расстояния на пути к комете Галлея, многие видные американские деятели приезжали к нам в Москву. Среди них был один член Комитета США по выбору целей, подлежащих атаке в случае ядерной войны. Я обратился к нему с просьбой: «Не окажете ли Вы нам любезность в духе научного сотрудничества — нельзя ли исключить из это-

го списка наш Институт космических исследований?» На это он ответил, что на время рабочего дня Институт в списке не будет фигурировать. Какое благо для эффективного труда! Люди захотели бы, пожалуй, работать круглосуточно!

Ни для кого не секрет, что полноценную отдачу космические исследования могут принести только при международном сотрудничестве. Без этого немислимо сегодня эффективное освоение космоса. Здесь не должно быть места соображениям престижа, соревнования. Такие же сложные проекты, как создание постоянной лунной базы или пилотируемая экспедиция на Марс, реально могут быть осуществлены только объединенными усилиями многих стран.

Значительный опыт международного сотрудничества накоплен «Интеркосмосом», объединившим исследователей космоса социалистических стран. Советские ученые поддерживают прочные контакты со многими исследовательскими организациями и других стран мира — Национальным управлением по авиации Соединенных Штатов Америки, Европейским космическим агентством, Национальным центром космических исследований Франции, Институтом космических исследований Японии.

Своеобразным рекордсменом по масштабам международной кооперации станет, очевидно, проект «Спектр-Рентген-Гамма». В его подготовке активно участвуют специалисты из Австралии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, Дании, Италии, Канады, Польши, Португалии, США, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Японии и Европейского космического агентства.

В то же время идея общечеловечности освоения космоса с трудом пробивает себе дорогу. Ученые горой стоят за объединение усилий, а правительственные круги Запада пока очень сдержанны. Зачастую в ход пускаются доводы секретности, необходимости охраны технологии и т. п.

Между прочим, вопрос охраны технологии мог бы быть решен очень просто. Наша страна готова относиться к иностранной научной аппаратуре, устанавливаемой на советских космических аппаратах, как к «черным ящикам», имеющим снаружи только разъемы для стыковки с другими узлами и системами, а все внутри прибора-«ящика» оставалось бы секретным. Могут быть приняты и иные меры, предотвращающие передачу технологии. Например, в случае исследований Марса обе стороны независимо посылают свои космические корабли с различными полезными нагрузками на борту. Одной могла бы быть возвращаемая ракета для доставки образцов марсианского грунта на Землю, другой нагрузкой мог бы быть марсоход. Две программы взаимно дополняли бы друг друга и не потребовалось бы их полной интеграции.

К какому бы мы ни пришли решению и относительно исследований Марса, и в подготовке других программ, главное — ученые должны делиться своими знаниями и делать их достоянием общественности. Значимость такого подхода будет все возрастать по мере расширения горизонтов науки. Нельзя решать насущные проблемы нашей планеты, не привлекая к этому все лучшие умы человечества.

МИР НА ЛАДОНИ

Пауки и полеты к звездам

Какая связь между ними? Биохимики из Ливерпульского университета установили состав яда одного из видов пауков с берегов Амазонки. Оказалось, что своим ядом насекомое не убивает жертвы — мелких птиц и грызунов, а только усыпляет их. Эти «спящие» питательные запасы сохраняются долго и при высоких тропических температурах. На основе паучьего яда английские ученые и создали безвредное снотворное средство. Предполагается, что с его помощью космонавты будут погружаться в анабиоз при будущих межзвездных полетах.

И. ПОДОЛЯНЮК

Еще одна тайна египетских пирамид

Где, каким образом обрабатывались колоссальные блоки для постройки знаменитых египетских пирамид? Как и откуда они транспортировались? Споры об этом не затихают до сих пор.

И вот новая гипотеза. Французский химик Джозеф Дейвидовиц из университета имени Барри (штат Флорида, США) утверждает, что... ни один из блоков пирамид ниоткуда не привозился и никогда не подвергался огранке. Все они были... отлиты на месте строительства усыпальниц фараонов. На это, по его мнению, указывают результаты проведенных химических и рентгеновских обследований блоков. Хорошо сохранившиеся в них органические вещества, являющиеся, по всей вероятности, волосами людей или животных, случайно попавших в смесь из известняка и других веществ при от-

ливке блоков, дают возможность предполагать, что пирамиды созданы из искусственного материала.

Е. СОЛДАТКИН

Новый клюв пеликана

Как умудрился повредить себе клюв крупный пеликан, американский журнал «Интернэшнл уайлдлайф» читателям не сообщил, но зато рассказал, как люди помогли попавшей в беду птице. Большую верхнюю часть клюва пришлось сделать заново. Три часа оперировали птицу два ветеринара. Из стеклопластика изготовили точный по форме протез, который с помощью пластинки из нержавеющей стали соединили с оставшейся частью клюва. Пациент спокойно перенес операцию. А двенадцать других пеликанов, у которых также были повреждены клювы, терпеливо ожидали своей очереди.

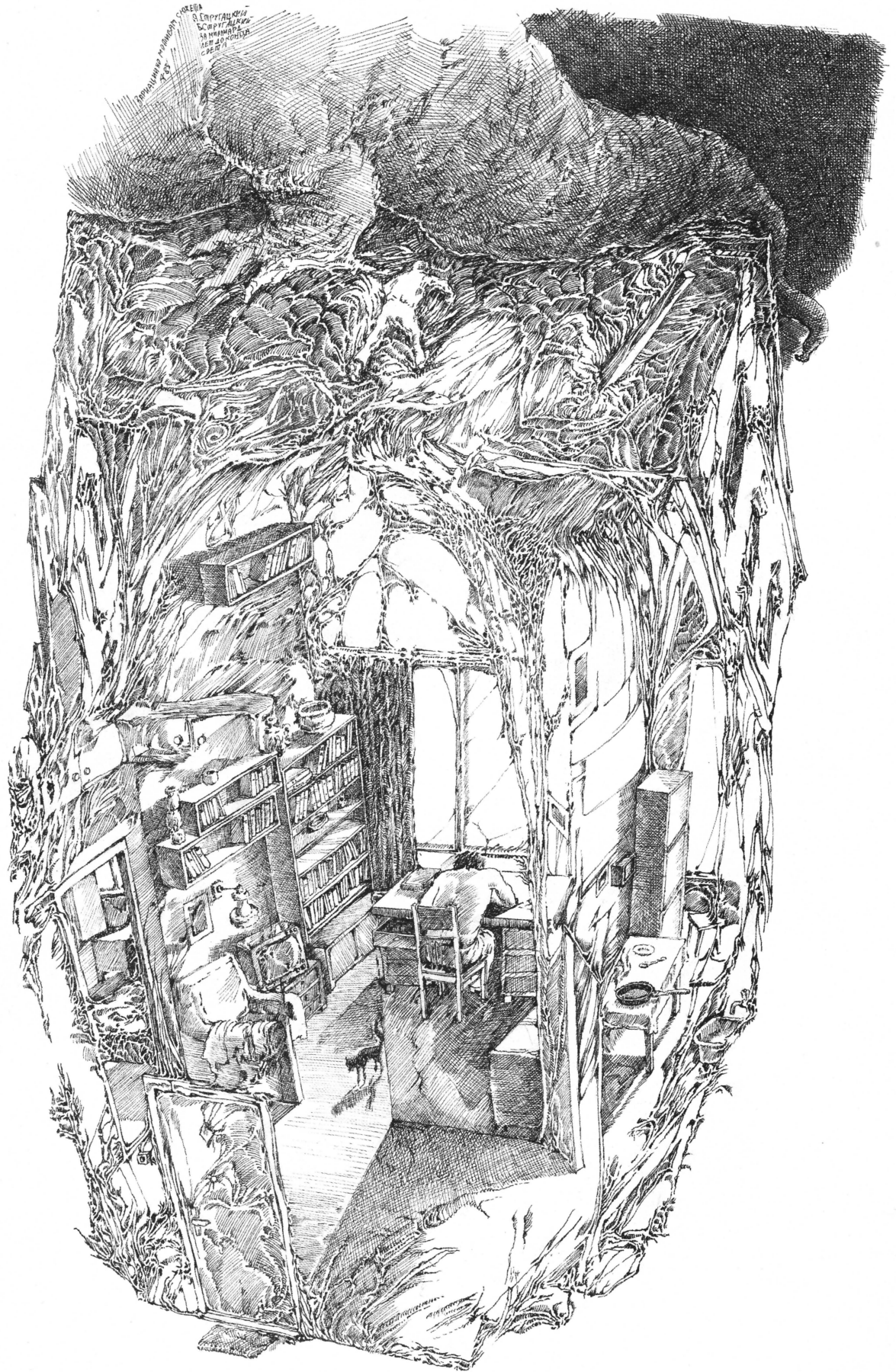
Е. ИВАНОВ

По мотивам повести Ф. Достоевского «ДВОЙНИКИ»



НА ВКЛАДКЕ — РИСУНКИ АНДРЕЯ КАРАПЕТЯНА

По мотивам повести А. и Б. Стругацких «ЗА МИЛЛИАРД ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»



ВРЕМЕНА МОЛОДОСТЬ



М. А. Осоргин
1930-е годы



Михаил Осоргин
Рис. Николая Мооса



Большие полотна не пишутся кисточкой для миниатюр и случайными под рукой детскими красками. В моей памяти нет никакой последовательности событий, их хроника ей чужда. Помню момент перелома — на обширном дворе Спасских казарм в Москве, куда пришла толпа, у солдат дрожали в руках винтовки, офицер не решался отдать команду. Нам ударил в грудь холостой залп, как могли ударить и пули. В тот же день человеческая река по Тверской улице — день общего сиянья, красных бантов, начала новой жизни. В сущности славен и чист был только этот день. Нужно было писать — но перо еще не привыкло к простому, несвязанному слову, оно кляксло газетную бумагу, оно истошно кричало. И дальше — отрывочные картины, переплет революций февральской и октябрьской, суматоха дней и месяцев крушения векового здания. Вижу себя в черном кожаном шоферском костюме, которым меня одарили на западном фронте, в сапогах и с наганом в руке; ночью обхожу комнаты здания московской охранки, полуожженной чинами политической полиции. Еще недавно меня вызывали сюда, требуя, чтобы я выехал из Москвы. Оступившись при слабом свете карманного фонарика, я срываюсь из второго этажа в разрушенную комнату первого, пролетев между торчащими балками и железными скобами и упав на кучу угля, битого стекла и полуобгорелых деловых папок; кожаная одежда спасает. Необходимо сохранить документы сыска для истории — страницы позора старого режима. Менее всего думалось о мести в эти дни, казавшиеся и бывшие светлыми; на прошлом крест, но музеи будут говорить о нем красноречиво.

Окончание. Начало в № 1, 2, 3.

Архивы свезены в Исторический музей, где уже разбирают их люди с жадным и нездоровым интересом. Потом внезапное отвращение к этой грязи и гнили, — не было ли во мне предчувствия, что нарождающийся строй, воздвигнув свои новые тюремные камеры и здания сыска, использует и кладбища прошлого, найдя в них много для себя ценного и поучительного? Потом увлечение новой большой газетой, встречи с нахлынувшими из-за границы эмигрантами, быстро занявшими ответственные посты. Свободные общественные Союзы, союзы союзов, избранный клуб писателей, полеты идей, свитки планов, — и уже рождающееся сознание, что все это должно разлететься прахом, что толпе нужны ловкие поводыри и реальные блага, а не наша интеллигентная культурная суета. Волна солдатчины, бегущей с фронтов домой, потому что революция и свобода значат в переводе — конец войне, иначе это было бы напрасным обманом народа. Горят усадьбы, вырубаются леса; революция торопится обеспечить свои победы, — и гордые победители красуются на боевых колесницах, кони которых вырвались и умчались далеко вперед. Сколько слов, сколько прекрасных слов, какое бездонное море лучших слов русской речи, какая бездонная пропасть делового бессилия! Хмельной, волшебный праздник, опустели все тюрьмы, бывшие воры выносятся на митингах резолюции о своем перевоспитании, приветствуя новую Россию, деревенские делегаты подписывают заявления, писанные для них не деревенскими людьми, рабочие, готовясь к диктатуре, пока делают на заводских станках на продажу зажималки, ученые пытаются рассуждать, пишут программы, заботливо насаждают в незнакомой им России прекрасно знакомую Европу. Талантливые в на-

шей прежней борьбе, остроумные в нападках на свергнутый строй, блестяще-злые, увертливые когда нужно — самоотверженные и готовые на подвиг, — мы внезапно делаемся солдатами в отпуске, счастливыми, празднующими, со всеми в дружбе, на все согласными, пьяненькими от свободы. Очаровательное время распада государственной машины, безвластная, самопорядка, срывающегося в сумбур. Совершенно ясно, что это — конец революции, что кто-то придет и скрутит пуше прежнего, — но не в том дело, эти дни все-таки следовало пережить, эти лучшие дни огромной нашей страны. Лучших и даже таких же она не знала и никогда не узнает.

Потом внезапно наступившая тишина — что-то должно случиться. Называются имена, появляются опасные люди, для которых еще могли бы пригодиться тюрьмы. Беспокоят анархисты, раздающие у подъездов домов барское барахло всем желающим. Бывшие воры, не успев перевоспитаться, становятся ночными бандитами в рессорной обуви, которая помогает им заскакивать в окна вторых и третьих этажей. Подобно им, скачут цены на исчезающие товары, и деньги становятся бумагой. Еще где-то вьются с царем, таская его по России, не то во имя человечности, не то потому, что его некуда девать. Существует какой-то внешний фронт, на котором упрямо гибнут избранные кадры молодежи, какая-то честь в отношении союзников, но война уже отошла в отдаленные кладовые сознания, потеряла смысл и скоро сменится войной гражданской. Сначала кучками, потом и отрядами появляется красная гвардия, саморожденная, как будто бесцельная, не знающая, что ей делать. Улиткой приближается Учредительное собрание, не потому, что оно нужно, а потому, что оно значится во всех политических программах. Избирательные бланки, многоцветные воззвания, имена, которые были известны эмигрантам в парижском Латинском квартале, на женевской Каружке и которые теперь корявым почерком выписывают на бумажку бывший чиновник, кухарка, рабочий, дворник; богомольные старушки кладут свои бюллетени на божницу, предоставляя выбор небесным силам. Это не я валю все в кучу, это вихрь свободы нагромождает бурелом. Устав от ожидания, Россия называет себя республикой, но, привыкнув к царям, ищет новое имя — и шепотком называется имя Ленина, обитателя мстечка Лонжюмо под Парижем, приехавшего в плембированном вагоне через Германию. Еще что-то, кажется, немцы на Украине и недовольство союзников. Профессора мыслят: не преждевременно ли революции оказываться социальной? — но этого не находят любители сильной власти, пока еще не отказавшиеся ни от революции, ни от свободы. Приходит пора стране поговорить серьезно о своих делах. Она делает длинное, красноречивое вступление, но появляется солдат и разгоняет Учредительное собрание, оставив не произнесенными заготовленные прекрасные речи. Долгожданная власть наконец наметилась, и поэтам остается «подчиниться насилию», выразив горячий протест.

Потом Октябрь, слухи о Петербурге, первые пули вдоль московского Тверского бульвара, снаряды над крышами, раненый купол Бориса и Глеба на Арбате. Населению не ясно, кто в кого стреляет, но жизнь уже возможна только в простенках между окнами, заложенными кипами газет. Пять дней осады, пока кто-то оказывается победителем и кто-то побежден-

ным, так что можно попытаться перебежать улицу до мелочной лавочки, торгующей со двора. Революция проиграна — да здравствует революция! В истории появляется новая великая дата.

Чувствую, как непосильна мне даже путаная хроника. Ее перебивают сотни картин. Я все еще голоден Россией, так мало видел ее после своих европейских скитаний. И вот я в сосновом бору, в охотничьем домике, отлично выстроенном и отделанном внутри с плотничьим искусством. Хозяин поместья был вынужден бежать, не от крестьян, с которыми жил в мире, а в своем качестве бывшего члена Государственной думы; семья, оставив большой усадебный дом, переселилась сюда, в четыре комнатки; я приглашен на отдых. Пышная весна, мхи раскинулись перинами, иван-да-марья на лугах выше роста, озимые уже колосятся, поблизости змейкой вьется речка в ивняковых берегах. На заре стонет строевой лес, который крестьяне рубят, валят, распиливают и колют на дрова. Самим им столько дров ни к чему, вывоза отсюда не может быть, но торопятся, чтобы не было возврата, чтобы доказать свои права; валят кругом, оставляя нам лесной островок. Могучие деревья падают с протяжным уханьем, щемит сердце слушать этот плач гигантов, их жалобу на человека. Но мы знаем, что это нужно и неизбежно, что это — революция. Молодые рубщики и пильщики иногда приходят к нам, не спорить, не выхваляться, а побыть с помещицей на равной ноге, покрасоваться правами. Их удивляет, что никто им не препятствует, им хочется понять, поговорить хочется, показать свою «сознательность». Они неграмотны, но научились выговаривать мудреные слова, называют себя «левыми эсерами», клянутся Марией Спиридоновой, имя которой как-то до них донеслось. Узнав, что я лично знаком с их кумиром, смотрят почтительно и несколько боязливо: не новое ли начальство? Обещают не беспокоить, а уж лес все равно придется повалить. — Не жалко вам его? — Что его жалеть, он помещичий. — Теперь он ваш. — Кто его знает, так лучше, вернее. — По лесу гуляет революция, и тут же, за опушкой у старого кладбища, проживает мирно сельский батюшка, сам крестьянствуя, и рубщики идут к нему звать на крестины и похороны. В нашем домике пианино, по вечерам уцелевшие сосны слушают музыку. Хозяйка — художник, ее картина есть в Третьяковской галерее. Над потерей всего достоинства посмеивается, знает, что отнимут и этот домик. «Мы сами добивались революции — вот она и пришла; жаль только соснового бора, он лучший во всем уезде». Кончает картину: солнечные блики на могучих стволах. Тем же летом, в подмосковной деревне, на берегу Москва-реки, валяюсь на солнечном косогоре, завитом хмелем, смотрю на золотые ржи, брожу по заповедному лесу, которого никто здесь не трогает, да и пробраться едва возможно в его темную чащу. В деревне все по-старому, только у девушек завелись чулки со стрелками да у местного кулака оказались в риге полузаваленные сеном поцарапанный и разбитый рояль и пухлый комод красного дерева, — неизвестно, как и откуда попали. В реке шуки гоняют мелочь, в даях того берега белеет село Архангельское. Нет более мирной картины. Меня тянет к воде, как пьяницу к алкоголю: море, река, речка, речушка, ручей. Но приходится возвращаться в го-

род, где еще выходят газеты. Случается, однако, что ночью врывается в типографию отряд красной гвардии, разбивает цилиндры свинцового набора. Мы предусмотрительны и посылаем копии матриц в несколько типографий. Номер газеты, будто бы уничтоженный, рано утром продается на улицах. Власть еще неумела, происходит постоянное состязание. Все это скоро кончится. В осенний день, в подвальном помещении маленькой типографии, при потушенных во всем здании огнях, с кучкой рабочих-добровольцев я выпускаю последнюю однодневку «За свободу печати», вся московская литературная знать дала статьи за полной подписью,— последнее, что мы можем сделать. В свободнейшей из стран приходится работать подпольно, однако забрала еще открыта. Но новые тюрьмы уже строятся, старых не хватает. За какое-то ложное известие, давно подтвержденное официально, отвечаю как редактор перед новым трибуналом; обвиняет Крыленко, комиссар юстиции, забавный фанфарон; защищает приятель-адвокат, старающийся убедить суд, что перед ним не буржуй, а интеллигентный бедняк, может быть, в единственных штанах... я делаю защитнику отчаянные жесты, потому что его слова повергают меня в смущение: на мне не только единственные, но рваные панталоны, так что стараюсь не повертываться спиной, спасая свою редакторскую честь: мы уже донашиваем одежду, обувь, скоро будем сами шить себе фантастические костюмы из портьер и мешков, носить зимой сандалии, добывать к лету валенки, подшитые кожей, содранной со старинных переплетов.

Те, кто бежал тогда из России, сначала на юг, под защиту добровольческих армий, потом за границу, никогда не могли понять всей силы и полноты пережитого нами, оставшимся делить судьбу родины. Перенеся и испытав все тяготы и ужасы жизни — нищету, голод, террор,— мы видели и иное, придававшее жизни глубокий смысл: спайку душ, самоотвержение, взаимопомощь, поравнение в жизненной борьбе, пробуждение ранее спавших сознаний. Страдая от новой власти, мы и в мыслях не имели проклинать революцию, и возврат к прежнему, если бы он был возможен, сочли бы величайшим несчастьем для России. Далеко ушла от нас война, и заключенный новыми господами страны отдельный мир не вызывал в нас ни протеста, ни большого интереса: иного быть не могло, и народ не двинул бы пальцем ради прекрасных глаз Европы. Начавшаяся гражданская война также вызывала мало интереса,— лишь постольку, поскольку она тяжко отражалась на нашем быте, усиливая нищету, мешая жизни хоть немного восстановиться и стать на рельсы, вызывая усиление террора. Добровольчество, при всем потоке громких слов, шло под знаменем возврата монархии и земельной собственности, с целью полного сокрушения революции, десятки народившихся окраинных и сибирских правительств были никому не нужны и не менее опасны, чем наше, не вызывали ни доверия, ни надежд. Мы отдавали должное героизму единиц и масс по обе стороны гражданского фронта, мечтая лишь об одном — чтобы все это скорее кончилось тем, чем должно было неизбежно кончиться. Оскорбляло вмешательство иностранцев, бывших военных союзников, пытавшихся распоряжаться нашими судьбами. Мы хотели бороться сами, отстаивая свои личные и вновь нами созданные общественные крепости, и в какой-то мере этого добивались. Было прочно сознание, что

при всех испытаниях, во всех условиях, вопреки разрушительной деятельности власти, нужно спасать Россию и то, что осталось от революции. Позже, высланный за границу, я понял, какая психологическая пропасть оказалась между нами и эмигрантами, до какой степени им было чуждо и непонятно то, что нам пришлось внутри пережить. Они отреклись от России,— мы оставались тесно с нею связанными; они видели в России только кучку властителей, одинаково и им и нам ненавистных; мы видели и знали новых людей, силящихся поставить на ноги раненого колосса, видели народ, пробудившийся к сознательной жизни, огромные возможности расцвета этой жизни, только бы не убил до конца этих возможностей возврат политического деспотизма. Нам казалось, что вопреки всему революция явилась для России благом, что в длительном процессе жизни это скажется. И во имя борьбы за это мы хотели жить в России. Я говорю «мы» о тех интеллигентах, которые и прежде вели борьбу с властью и для которых настоящее положение было только этапом все той же борьбы. И я не сомневаюсь, что таких людей осталось в России много, и много ими сделано. Мне особенно приятно писать это сейчас, в дни «крестового похода» темных сил Европы на русскую землю под предлогом борьбы против большевизма, в действительности столь родственного свастике. Не власть защищает русский солдат и русский народ, а свою землю, свое право быть ее хозяином, и никакой исход событий не умалит силы и значения тяжкого русского подвижничества. Тороплюсь сказать это прежде, чем станет модным преклоняться пред свершившимся и к нему приспосабливаться.

С любовным чувством вспоминаю нашу личную крепость. Горсточка писателей и ученых основала книжную торговлю в дни, когда все издательства прекратились, были национализированы и закрыты все магазины. Мы сами создали себе привилегию и пять лет ее отстаивали. Нужно было чем-то жить, помогать жить другим, и было приятно окружить себя книгами, частью нашей сущности. Об этой московской «Книжной Лавке Писателей», вызвавшей позже подражания, писал не раз я, писали и другие. Она заполняла нашу жизнь. Она стала центром московской интеллектуальной жизни. Мы не просто скупали и перепродавали старую книгу, мы священнодействовали, спасали книгу от гибели и разрушения, подбирали в целое разбитые томики, создавали библиотеки для университетов и учреждений, помогали любителям составлять коллекции. В те дни было загублено бесчисленное количество больших и малых книгохранилищ. Мерами власти книги отнимались, валились в кучу, сгнаивались в затопленных водой подвалах. Скупая оставшееся, подбирая томик к томику, сбывая мусор, мы разрушению противопоставляли созидание, пусть в размерах скромных, но все же существенных. Находились смельчаки и страстные любители книги, которые, прикрывшись добытыми «охранными грамотами», не всегда охранявшими, решались составлять себе библиотеки, о каких раньше не могли и мечтать, у нас они находили бесценные сокровища, расползшиеся по России из разрушенных поместий и частных хранилищ. На скромнейшие доходы мы жили сами и помогали жить Союзу писателей и его отдельным членам. Мы не забывали, конечно, и себя, каждый забирая в свой лавочный «паек» то, что отвечало нашей частной книжной стра-

сти. Вижу книжные полки в своей уплотненной жилыми квартирами, мысленно поглаживаю старые переплеты, перелистываю страницы редкостных изданий, мечтаю о недостающем и чаемом, любясь ростом моих богатств. Голод, бедность, постоянное ожидание налета бдительной власти, недовольной независимостью наших позиций и нескрываемых взглядов, — все это забывалось среди книг. Какая радость спасти увесистый том «Четых-Миней» от покушения на прочную кожу его переплета для обшивки валенок или заплат на башмак. Уберечь, подобрать к нему другой и третий, пока не восстановятся все томы полностью. Томиками французских изданий осмысленного века, которые сейчас продаются в Париже в отеле Друо за тысячи, у нас играли в деревнях ребятишки как удобными битками для бабок; они валялись в мусоре разрушенных усадеб, вместе с архивами безграничной ценности. К нам робкий человек приносил на продажу сплетенные в альбом или просто оставшиеся без призора письма Екатерины Второй и ее сподвижников, доставшиеся ему по наследству или им откуда-то добытые, — теперь уже никому не нужные, последний источник его пропитания; мы отдавали ему всю наличность кассы, чтобы после продать музею за символический рубль. Дома я разбирая пожелтевшие листки, забывая тухлую конину, морковный чай, вкус мерзлой картошки, готовя слова, которыми порадуя друзей, рассказав им о своих открытиях. Лично я собрал исключительную по ценности библиотеку русских книг об Италии, преимущественно путешествий, от времен Шереметева до дней наших. По моем отъезде она осталась на хранении в одном из иностранных посольств в Москве; кто скажет, что стало теперь с моими сундуками? Все равно, да будет благословенна книга, давшая в жизни так много утешений и радости! Но и горя не мало дает утрата любовно собранных сокровищ. Все, что было собрано в России, погибло, как позже погибло, украдено культурными бандитами накопленное мною в Париже.

Книга спасала по ночам, когда не спалось. Поблизости шум мотора; прошумит ли он мимо или замрет у нашего подъезда? Шаги на лестнице, отдаленный стук в дверь, новый ближе. Может быть — облава, повальный ночной обход квартир, может быть, отдельные, намеренные визиты. Уже прогремело имя улицы Лубянки, уже работает неустанно Варсонофьевский гараж, облюбованный для расстрелов. Нужды нет, что вы не чувствуете за собой никакой вины, кроме несогласия мыслить по чужой указке, — новая власть косит направо и налево, не слишком разбираясь. Днем случайный звонок, комиссар с солдатами, и часом позже, в полуподвальной камере московской Чека, я знакомлюсь с другими заключенными. Пожилой человек говорит: «Можно просить вас занять место на нарах рядом со мной. Вы — свежий человек, без вшей, в моем углу еще чисто: будете желанным соседом». — «Где я нахожусь?» — «В Корабле смерти». — «Кто вы?» — «Я Поливанов, бывший военный министр». — «А другие?» — «Часть — бандиты, часть люди разных партий, а почему взяты, не знаю, да и они сами не знают».

Проходят дни в ожидании. Есть несколько книжек, в их числе «Виктория» Кнута Гамсуна. Я любовался в подвале отдельную пристроенную из досок комнатку, куда никто не заходит. Лежу на лавке и читаю Гамсуна. Какая нежная книга! Это — комната

смертников, но сейчас пустует, так как пока все, кто нужно, расстреляны. На стенах прощальные надписи. Мой арест случаен. Бывают такие случайные расстрелы; бываю и такие же освобождения. Союз писателей еще пользуется некоторым вниманием, я член его правления. Меня освобождает лично Каменев, народный комиссар, член Совета рабочих депутатов. «Маленькое недоразумение, — поясняет Каменев, — но для вас, как писателя, это материал. Хотите подвезу вас домой, у меня машина». Я отказываюсь, вскидываю на плечи свой узелок и шагаю пешком. За пять дней в Корабле смерти я действительно мог собрать кое-какой материал, если бы сам не чувствовал себя бездушным материалом. На расстрел был увезен только один бедный мальчик с порочным лицом, его опознал «комиссар смерти», иногда приходивший взглянуть с балкона внутрь нашей ямы, сам бывший бандит, теперь — гроза тюрьмы и герой террора, он узнал мальчика, моего второго соседа, весело его окликнул, и затем заключенный был вызван «по городу с вещами». Мы знали, что он не вернется. Знаменитый гараж близости, но обходятся и без него, так как на нашем дворе есть также удобный подвал для быстрой расправы. В Лавке меня встретили радостно друзья и книги. Дома знакомые томы и томiki стояли в оставленном порядке. Инцидент исчерпан.

Первое пятилетие революции, свидетелем которого я был, полагается делить на периоды — на эпоху Временного правительства, октябрьский переворот, военный коммунизм, новую экономическую политику и что-то еще. Историки объясняют, как все это происходило, чьим радением, чьей мудростью; но не верьте на слово историкам, не верьте слишком и их документам, потому что они приведут в стройность то, что не было и не могло быть стройным, они в хаосе откроют гармонию причин и следствий, они преподнесут облизанную конфетку — и проглядают человека. Мы, родившиеся на больших реках, знаем, что в ледоход и разлив никто не направит течения палочкой, как мальчик струю воды в уличной канаве. Сверхается то, что свершается, и кто-то приписывает это себе и придумывает событиям названия. Нас влекла стихия, а люди на стороне делили должности, кричали слова команды, стреляли в упор или мимо, торжествовали спинами раскатившийся вагон. Дореволюционная Россия была домовита, запаслива, богата, и война ее не истощила. Мы долго доживали и доедали ее запасы, пока пришло время, когда остались только кремешки для зажигалок и пустые коробки от папирос «Ира». Стали странствовать на колесах и пешком на юг с мешками, привозить оттуда муку, крупу, иной раз и сало, толстые слои сала с мясными прожилками и коричневой корой. Приползала зимой замерзшая картошка, дома оттаивала чернилами, но все же шла в дело. Чаще люди перочинными ножами вспарывали шкуру павшей на улице от бескормицы ломовой извозчицей лошади, приносили домой черное жилистое мясо на котлетки. Привыкнув к очередям, молчаливо выстраивались на улице в ряд, подбирали из навозной колес просыпанную с воза клюкву и несли домой в горстке, как четверговую свечку: все съестное стало священным. Нельзя было в нижнем этаже вывешивать между оконными рамами недоенный кусок, вывешивать не из боязни порчи (в домах было холодно), а чтобы спасти от крыс;

нельзя, потому что прохожий человек бил кулаком стекло, хватал, что висит, и бежал за угол, улетаая на ходу. В каком-то переулке с меня сняли шубу и пиджак — не возразишь против револьвера, приставленного к затылку, и вот — незаменимая потеря. С магазинов содраны вывески, из них понаделаны печурки, гордость всякого хозяйства, растопка — номер «Известий рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», одного названия достаточно для разжига, а на дрова идет лишняя мебель и выковыренные дубовые плитки паркета. И все-таки мы ходили друг к другу в гости, прихватив свой сахарин к чужому чаю из листьев брусники. Хватало пшена, которое заправляли любым маслом: бобовым, кокосовым, минеральным, лишь бы не драло глотку. Мы были очень изобретательны и мы не скучали. Многие умирали от голода, но иные, слишком полные, от него поправлялись, делались стройными и деятельными. Хоронить погибших от тифа или от расстрела посылали по наряду буржуев, а трупы назывались жмуриками. К весне торопились скальвать на дворах лед, вывозить снег и кухонные отбросы, чтобы не затопило грязью, вонью и болезнями, дружная работа всех жильцов, прекрасное житейское поравнение, — нет больше барства, как нет и слуг. И всюду находились люди побойчее, бывший ли дворник или бывший адвокат, которые выдвигались и нами командовали. Как любят люди властвовать! И как любят люди подчиняться! У властного оказывалась и одежда лучше, и за столом сливочное масло, а то и долетевший из Киева копченый гусь, отнятый у мешочника заградительным отрядом. Потом у властных появились на рукаве нашивки, дальше — форма, после появятся ордена и звания. У пояса кобура, под мышкой портфель, эмблема власти, — государственный строй крепчает, идеи стеклянеют и становятся декретами и законами. Широко, во все скуластое лицо, улыбается черт, придумавший государство. Труден только первый выстрел по приставленному к стене товарищу, дальше пуля сама знает, куда лететь. Рядом с нашей книжной писательской лавкой, в Леонтьевском переулке, был барский особняк с залой, удобной для больших собраний; туда приезжали правители совещаться, как им мудрить над нами дальше; все люди верующие, крепколюбые, без лишней чувствительности. Вечером к окнам дома пробрался через сад неведомый отчаянный человек, тоже без жалости, и швырнул бомбу. В ночь расстреляли в подвалах ЧК сидевших в Корабле смерти и других узилищах, для отместки и в острастку. Кажется, это и называется военным коммунизмом. Когда же скуластый лысый человек, читавший в Париже томительные доклады и по их тезисам строивший теперь наше бытие, честнейший теоретик, чистейший бесребреник, за цифры не видевший людей, — пусть мир погибнет, лишь бы теория торжествовала! — когда он додумался, что время дать некоторый простор частным побуждениям, поощрить инициативы, тот же поток стихии стал называться эпохой — новой экономической политикой; и вдруг появился белый хлеб и пирожки с капустой. Был еще другой человек, с лицом шестиугольным, подправленным усами и бородкой, с огромным самолюбием, злыми глазами и прочной в душе ненавистью, и прежде всего — страстный ненавистник военщины, скрипевший зубами при виде военной формы. Судьба над ним подсмеялась, сделав его народным комиссаром войны и командую-

щим войсками. Тот первый скуластый татарин, хотя и русский дворянин, остался штатским в прежнем своем пиджачке; этот надел длинное военное пальто и славянский шишак с пентаграммой, округлившей его шестигранное еврейское лицо. Она, судьба, и дальше его не оставит. Он выслан из России неугодных людей, и ему я благодарен за дальнейшие скитанья по Европе; он будет сам выслан и кончит жизнь запутавшимся в мемуарах эмигрантом; но и в далекой стране его настигнет и убьет третий властитель России, толстый грузин в суконной полуформе, усердный убийца, услужливо прозванный отцом народов и мировым гением, сейчас — соперник в бессмертии и славе германского маляра. Мимо этих бронзовых фигур течет река жизни, то затопляя половодьем, то мелея, в ее воде мелкие рыбешки, шарахающиеся от щук и окуней, им тоже нужно жить, жрать и метать икру, и бежит река своим вековым руслом, а многодумные люди скажут: это мы приказали ей течь в берегах, левом — крутом и правом — пологом, из гор в долины, мы, властители и направители ее светлых струй. И в истории опишется все иначе, прилежнее, аккуратнее, с догадками, выводами, именами и датами — в руководство будущим поколеньям. А солдата, продававшего из-за пазухи «игранный» сахар, бывшую даму, поменявшую будильник на щепотку муки, нас, читавших ночью старинные итальянские новеллы, ожидая стука в дверь, вас, разметавших по чужим странам душевные богатства, история не припомнит за малостью и ненужностью на страницах ее соломенной бумаги.

Из великих революционных принципов, посеянных по русской земле, заглушены были скоро всходы свободы, но хорошо уродилось равенство — в благосостоянии и в рабстве. Единицы процвели особо, обеспечив будущему новое дворянство, но в общем жизнь создала желанное поравнение. Если класс немущих выиграл мало, то стремительно к его уровню скатились те, кто раньше жили на его счет. Кто не успел бежать, прихватив свое добро в легконосных ценностях, тот попал под великий закон поравнения. Из богатых квартир, не очищенных прямыми мерами, потекло на базары и в хитрую деревню накопленное и сбереженное, стала торговкой бывшая барыня, теперь гражданка, деньги утратили ценность, отпали титулы, попряталась голубая кровь и кто мог называл себя детищем прохожего солдата и покрытки, потомком крепостных дедов. Всех равно одолели голод, холод, вошь, заползшая за воротник, крыса, хотевшая быть сотрапезницей. Равны стали и в одежде. с одинаковым за плечами мешком, слабосильные с санками или детской колясочкой — на случай пайковой выдачи или неожиданной продовольственной поживы. Мешки срослись с телом, люди стали сумчатыми. Если кто мог одеться лучше других — воздерживался, боясь косых взглядов; если мог лучше поест — скрывал, ревниво пряча съестное, жуя его в одиночестве и в темноте, чтобы не подсмотрел сосед в щелку. Уравнились и в возможности попасть под карающую руку, за дело, без причины, в общей облаве, по дружескому доносу или просто зря, по шутке неудачливой своей судьбы, по силе принципа «лучше казнить десять невинных, чем оправдать одного виновного», — так перекроили знаменитую фразу Екатерины Второй, специалистки по показной гуманности. Кто похитрее, поспешил опроститься и стать незаметным, кто полочее — пристраивался в новых уч-

реждениях, росших, как грибы в дождливое лето. В новом строе, уничтожившем бывшее чиновничество, всякий, кто мог, становился чиновником, советским служащим, ответственным, рядовым, преданным или притворщиком, только бы числиться трудовым элементом и получать свою долю селедок, моркови, по-видля, листовой резины на подметки, махорки, в которую подкладывался душистый колосок — и получалась едва ли не гаванская сигара. Старые ученые с мировым именем, философы, врачи, нестроптивные писатели стояли в очередях у лабазов за получением академического пайка, усиленного лошадиной ногой или ребром: пшено, клюква, что-то вроде чая с запахом кофея, мука, горстка сахару — и непременно селедка, превосходная русская соленая селедка, великое спасение от голодухи и гибели — ей бы, благородной рыбе, поставить бы памятник! В обмен на селедку можно было получить все, что еще не совсем исчезло, ею можно уплатить долг и обеспечить себе новый заем. Селедки поедались в виде натуральном, в вареном, в жареном, их коптили в самоварных трубах, чтобы иметь запас, не подверженный порче. И еще вобла, золотая вобла, порою с червоточиной; воблой кормили в тюрьмах, на первое блюдо в супе, на второе вынутую из супа разваренной тухлой. Под селедку и воблу страстно хотелось водки, но монопольные заводы не работали, запасы были выпиты и вылиты революцией, и ловкачам оставалось гнать сивушный самогон. Пили денатурированный спирт, но от него слепли, если не догадывались процеживать его через уголь противогрибковых масок. Привычные пьяницы пробовали пить бензин и керосин; фармацевты делали богатые дела, отпуская знакомым маленькими флакончиками зубной эликсир, эфирно-валериановые капли и все, что пригождается на спирту для наружного употребления, — теперь для внутреннего. Смельчаки пили одеколон, — и в людских скоплениях, в очередях и на базарах, пахло тонкими духами и разило эфиром.

Два явления развивались параллельно; небывалый раньше эгоизм — в дружных прежде семьях один прятал от другого кусок, садились за стол со своими съестными сбережениями, косились на материнскую и сестринскую тарелку, укрывали в кармане луковицу, ссорились из-за неравной порции. И в то же время сторонний человек, видя нужду другого, подкармливал его, лишая себя последнего. Рискую жизнью, укрывали гонимых, хлопотали за арестованных, простаивали в длинных хвостах у тюремных канцелярий с кулечками для своих и чужих узников. Одни спасали свою шкуру любыми мерами, от вилянья хвостом до прямой подлости, другие шли на проклятие для ближнего и дальнего. Всякая жизнь была подвижничеством и кличка «товарищ», одним ставшая ненавистной, для других звучала священно.

И было еще одно, что трудно объяснить человеку, не пережившему в России тех дней. И торжествующих и от их торжества пострадавших объединяла вера в то, что все эти страдания, лишения, вся нищая суета жизни, все это лишь временно, лишь страшный переход от прошлого к будущему. От революции пострадав, революцию не проклинали и о ней не жалели; мало было людей, которые мечтали бы о возврате прежнего. Вызывали ненависть новые властители, но не дело, которому они взялись служить и которое оказалось им не по плечу, — дело обновления России. В них видели перерядившихся

старых деспотов, врагов свободы, способных только искажать и тормозить огромную работу, которая могла бы быть — так нам казалось — дружной, плодотворной и радостной. Смотря вперед, верили или хотели верить, что все это выправится, и потому так мечтали о прекращении гражданской бойни, мешавшей успокоению и питавшей террор. Может быть, ошибались, но думали так. И по мере сил, каждый в своей области, старались наладить и личную и общественную жизнь на совсем новых началах, раньше не доступных. Наладили ли — не знаю. Отсюда, из Европы, Россию не поймешь. Я не видал ее почти двадцать лет. Сыновнее сознание не мирится с тем, что тамошние люди жили и живут в политической духоте, в ставшем привычным подданстве и робком послушании. Старшие приспособились (или лгут? или притворяются? или переменились?), младшие ничего другого не знали, никакими идеями свободы не заражены, от иного мира отделены непроницаемой и непролазной стеной запретов. То, что нам казалось и было важнее и дороже жизни, и посейчас кажется — вот хотя бы возможность эти слова сказать, написать, где-то напечатать, — им то чуждо, незнакомо, незнакомо, не нужно. У курицы какие-то предки, вероятно, летали, но она не мечтает ни о полетах, ни о плавании. Животные в подземных пещерах, никогда света не видавшие, лишены зрения. Рабочий муравей, раб коллектива, безличная машина, не вспоминает об атрофированных органах, не знает силы пола, и он по-своему, может быть, счастлив. Жаль людей суженного кругозора и ограниченных духовных запросов, кастратов мысли, но если цель жизни — счастье, то возможно, что новые поколения счастливее нашего; мы целью жизни считали не счастье, а широту и благородство духовных стремлений, возможность их развивать и им следовать. Мы могли ошибаться, но тогда — какая прекрасная ошибка! Стоит ее всегда повторять, стоит и умереть, ей не изменяя.

В двадцать первом году мы, жители столицы, видели в беспокойных снах, будто горстями едим сахар и ломтями малороссийское сало; проснувшись, заедали горячий настой брусничного листа черным хлебом с привкусом пыли и плесени. Великой хозяйственной изворотливостью появлялась за обедом гречневая каша, хоть и без масла, но все же сносное питание. Иной делал чудеса; выкармливал в чулане поросенка, вскакивая по ночам взглянуть, не взломана ли дверь кем-нибудь из добрых соседей; у других на кухне, под столом, сидела на яйцах курица. На улице солдат-дезертир, побывавший на юге, показывал знаками проходящей хозяйке, что у него есть за пазухой нечто редкостное, — и хозяйка шмыгала с ним в чужие ворота или темный подъезд, где солдат распоясывался, извлекал из обмоток размягкий шоколад, из шаровар мешочки с крупой; деньгам солдат предпочитал обмен на белье, на штатскую пару, на золотое колечко, — торговля была сложна, опасна, все передавалось с оглядкой, из полы в полу. На базарах, которые то поощрялись, то оказывались незаконными и подвергались облавам, шел тот же сложный обмен буржуазного барахла на масло, картошку, пшено; высшей ценностью были сапоги, на них можно было запастись мукой на всю зиму; но неплохо котировался и будильник, треск которого

правился наезжавшим из деревень крестьянам. Толстая баба прикидывала на свой стан кружевную кофточку разорившейся барыни, бывший чиновник не соглашался дешево отдать граммофон. Вдруг появлялся отряд милиции, и все бежали, стараясь унести свое добро, давая друг друга, проклиная свою горемычную судьбу.

Мы голодали, но это был шуточный голод; от него худели, хворали, но умирали не так часто. Настоящий голод был в приволжских губерниях, пораженных неурожаем, и описать его нельзя, хотя и пытались многие. Там начисто вымирали деревни и села, и дороги между ними зарастали травой. Там были съедены пощаженные засухой листья деревьев, содрана и сжевана мягкая кора, истреблены крысы, белки, хорьки, лягушки, сверчки, земляные черви. Лучшим хлебом считался зеленый, целиком из лебеды, хуже — с примесью навоза, еще хуже — навозный целиком. Еще ели глину, и именно тогда было сделано великое открытие «питательной глины», серой и жирной, которая водилась только в счастливых местностях и была указана в пищу каким-то святым угодником. Эта глина насыщала ненадолго, но зато могла проходить через кишки, и так человек мог прожить целую неделю, лишь постепенно слабее. Обычная глина, даже если выбрать из нее камешки и песок, насыщала навсегда, от нее человек уже не освобождался и уносил ее вместе с горькой жалобой на тот свет для предъявления великому Судии. Но великий Судия только досадливо отмахивался: он был завален серьезными делами о людоедстве, слух о чем докатился до Европы, кушавшей тартинки и отвергавшей Россию и русских за военную измену и за революцию. С ужасом и презрением писали о «случаях каннибальства», не зная, что это были уже не случаи, а обычное явление, и что выработалось даже правило сначала есть голову, потом потроха и лишь к концу хорошее мясо, медленнее подвергавшееся порче. Ели преимущественно родных, в порядке умирания, кормя детей постарше, но не жалея грудных младенцев, жизни еще не знавших, хотя в них проку было мало. Ели по отдельности, не за общим столом, и разговоров об этом не было.

Я не видел голода, хотя к зиме страшного года был сослан в казанскую губернию, где вымирали татарские селенья. Вернее, видел я только забредших в город Казань чудом выживших деревенских людей. Появлялась на улице человеческая тень в отрепьях, становилась у стены с протянутой рукой. Давали мало, хоть деньги ничего не стоили, да и не были настоящей помощью тысячные, стотысячные, миллионные бумажки. Постояв на морозе столько-то времени, тень опускалась на снежную панель и замерзала, и тогда в упавшую шапку прохожие бросали, не жалея, мелкие бумажки. Это я видел. И еще видел детей, черемисов и татарчат, подобранных по дорогам и доставленных на розвальнях в город распорядительностью американского Комитета (АРА). Привезенных сортировали на «мягких» и «твердых». Мягких уносили или уносили в барак, твердых укладывали ряд на ряд, как дрова в поленнице, чтобы после предать земле. И еще раньше, до казанской ссылки, я видел в Москве коллекцию сортов «голодного хлеба», собранную на местах одним из членов общественного Комитета помощи голодающим, — замечательную коллекцию суррогатов, которыми пытались питаться мил-

лионы умиравших от голода крестьян; ни в одном музее мира не найти такой коллекции разноцветных камней и неведомых пород, и то московское собрание погибло при аресте членов Комитета.

Я мало видел, но много слышал в Казани от очевидцев. Из всех рассказчиков самым остроумным был следователь, которому вначале были поручены дела о людоедстве; после, когда эти дела умножились, их предали забвению, тем более что большинство «преступников» явиться на человеческий суд уже не могло. Следователь, человек новой формации, без всякого образования, но уже успевший усвоить казенный «юридический» язык, возмущенно повествовал, как в большой крестьянской семье ели умершего собственной смертью деда, которого перестали кормить. В протокол по этому делу следователь записал: «Означенные граждане варили из головы суп, который и хлебали, даже не заправив его крупой или кореньями». Я запомнил эту фразу — она гениальна!

О, я мог бы привести здесь много рассказов о голодном годе, — не для русского читателя, которого ничем не удивишь, а для иностранца, для того самого, который строго судил Россию за уход с фронта, а сейчас одобряет за отчаянное сопротивление. Мог бы, например, нарисовать жанровую картину, как кучка полуживых плетется по следам умирающего, который из последних сил пытается углубиться в лес, найти покой своим костям; так точно стая волков преследует раненого собрата, подлизывая его кровь на снегу. Да, мы люди дикие, лесные. Леса наши огромны; селенья редки; по Казанской губернии можно ехать на лошади две недели, не встретив по дороге ни дома, ни человека. Как же вы полагаете, понятно ли было жителям тех мест, какими дипломатическими обязательствами была связана Россия, во имя чьих интересов должен был оставаться на фронте русский солдат — черемис, мордвин, татарин, вотяк, остяк, самоед? Уж и правда — не покривил ли он душой, бросив фронт и ненавистное ружье, истолковав по-своему «свободу»? И если сегодня он на тех же фронтах борется зверем — не случилось ли что-то особенное в России за истекшие годы?

В Москве, на Собачьей Площадке, был скромный особняк, в котором приютился общественный Комитет помощи голодающим. Неурожай и голод — явления в России обычные, но ни одно правительство не могло справиться с ними. Настоящую помощь оказывала только сплоченность общественных сил; при Екатерине Второй с голодом боролись московские масоны, при Николае последнем — люди, созванные Львом Толстым. Правительство, вышедшее из октябрьской революции, сильное в терроре, было бесильно спасти от смерти миллионы приволжских крестьян; и оно пошло на риск, допустив в Москве образование общественного Комитета с участием и представителей правительства. Если кто-нибудь успел записать краткую историю этого Комитета, то он рассказал, как нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в голодные губернии отправление поездов картофеля, тонны ржи, возы овощей — из центра и Сибири, как в кассу общественного Комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели давать Комитету официальному. Огромная работа была произведена разбитыми, но еще не вполне уничтоженными кооперативами, и общественный Комитет, никакой властью не облеченный, опиравшийся лишь на нрав-

ственный авторитет образовавших его лиц, посылал всюду распоряженья, которые исполнялись с готовностью и радостью всеми силами страны. Он мог спасти — и спас — миллион обреченных на ужасную смерть, но этим он мог погубить десятков правителей России, подорвав их престиж; о нем уже заговорили, как о новой власти, которая спасет Россию. Ему уже приносили собранные пожертвования представители войсковых частей Красной Армии и милиционеры. Екатерина Вторая разбила московское масонство, Николай последний преследовал работавших на голоде «толстовцев»; октябрьская власть должна была убить Комитет прежде, чем он разовьет работу. В Приволжье погибло пять миллионов человек, но политическое положение было спасено.

В доме на Собачьей Площадке очередное заседание Комитета, но не приехал председатель, народный комиссар Каменев, раньше аккуратный. Я сижу рядом с В. Фигнер, знаменитой революционной старушкой, выдержавшей двадцатилетнее одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости, строгой, серьезной, не утратившей веры в революцию. Говорю ей: «Вот сейчас явятся чекисты, и мне придется провожать вас под ручку в тюрьму». Было легко пророчествовать в те дни, и я втайне жалел, что не уехал, по зову приятеля, в деревню ловить рыбу; но я был редактором газеты Комитета, единственной независимой газеты, которая была разрешена; ее третий номер был набран, и гранки лежали в моем портфеле, — газета без тени политики, целиком посвященная информации о голоде и принимаемых нами мерах. Гудят у подъезда моторы, и впереди других черных фигур влетает в залу женщина в кожаной куртке с револьвером у пояса. Старушку Фигнер пощадили, нас повезли на прекрасных машинах. Один из спутников спросил на ухо: «Как вы думаете, это — расстрел?» Я кивнул головой уверенно. Иначе — какой же смысл в аресте? Чем его оправдать? Нам нужно объявить врагами революции и уничтожить! Тюрьма на Лубянке не приготовлена к приему столь многих гостей, и мы заперты временно в большой комнате, служившей раньше торговой конторой, вместе, мужчины и женщины, все — люди на возрасте или уже старые, общественные работники, кооператоры, профессора, писатели, врачи, инженеры, бывшие члены Государственной думы, бывшие министры при Временном правительстве, вообще — бывшие люди. Большинство впервые в тюрьме и не знает, что делать. Я знаю хорошо по прежнему опыту; нахожу уголок почище, ложусь на пол и засыпаю под возбужденные разговоры. Утро вечера мудренее, если, конечно, утро придет.

Утро пришло. И было еще много утр в камере лубянской тюрьмы, где, до ссылки, я просидел два с половиной месяца за посильное участие в борьбе с посетившим Россию голодом. Камера была одиночная, но сидело в ней то шесть, то семь человек разных званий и по разным делам: два члена Комитета, бывший морской офицер в продранных сапогах, которому ночью крыса искусала палец, старый крестьянин, продавший на базаре пуд муки, коммунист-комендант, не угодивший начальству, еще неопределенные лица, может быть, подсаженные слушать наши беседы. Сидели недели по две-три, потом исчисляли, заменялись новыми. Я пересидел других. Надзирателями были латыши, низкоробые, грубые; дважды в сутки они выгоняли нас гурьбой в уборную, на

что полагалось десять минут, вместе с обязательной уборкой мокрыми швабрами, которую мы выполняли по очереди. Тюрьма была страшная, без всякой возможности общения между камерами и с внешним миром: в царских тюрьмах эта возможность всегда была. Не было книг, никогда не водили на прогулку. Нас кормили супом из воблы и воблой из супа; вобла гнилая и червивая; но допускалась передача пищи с воли, и родные и друзья выстаивали часами в очередях у конторы тюрьмы; иногда передача не принималась, и это обычно означало, что арестованный расстрелян, но прямо об этом не сообщалось. Не расстрелянный в первую неделю, я считал, что опасность прошла, и сидел спокойно. Иногда водили на допрос, но допрашивать было в сущности не о чем, отвечать на допрос нечего; никакой вины за нами не было, сочинить ее было трудно, так как Комитет старательно избегал всякой политики и вся деятельность его была открыта; но причислены мы были к разряду под буквами КР — контрреволюционеры; у половины арестованных членов Комитета было не малое революционное прошлое, но это дела не меняло. До ссылки я не знал, что был в числе шестерых назначен к «ликвидации», от которой нас спасло заступничество Фрильофа Нансена. Я никогда не видел этого замечательного человека, память которого чту независимо от того, что обязан ему жизнью. Вместо расстрела эти шестеро были сосланы в глухие провинциальные местечки; мне на долю выпал Царевкокшайск, гиблое лесное поселение Казанской губернии, жители которого гнали смолу и по весне, когда вскрывались реки, сплавливали до Волги лес; доехать туда мне не привелось по болезни, задержавшей меня в городе Казани. Всякая ссылка лучше тюрьмы. В тюремной камере было холодно и сыро; отопление не действовало. Чтобы поправить его, приехали в камеру рабочих, которые по неопытности вместо починки затопили нашу комнату горячей водой. Пришлось просидеть сутки, подобрав ноги; затем вода просочилась под пол, и этим дело кончилось. Отопления так и не поправили, и у нас зацвели зеленой плесенью доски деревянные, служившие постелью, соломенные тюфяки, стены, одежда, обувь, легкине. Ноябрь был морозный, и я рассчитал, что в такой обстановке, если даже не приключится острая болезнь, до весны не дожить; весте о ссылке была настоящим освобождением и радостью. Поздним вечером вывели во двор, посадили на грузовик и доставили на вокзал. В вагоне отвели отдельное купе троим ссыльным (со мной ехали два известных кооператора, члены Комитета) и пятерым молодым конвойным солдатам, которые ухитрились тут же, при отправке, потерять мешок с нашими и своими документами и всем продовольствием. Это тоже было удачей, так как теперь было не известно, кто кого везет. Были морозные дни, в вагоне отопления не было, стекла были разбиты, и меня, больного; товарищи уложили на лавку, прикрыв всем теплым, бывшим в нашем распоряжении; путь до Казани — трое суток, и путь страшный: вагоны кишели вшами, по России гулял тиф. У моих запасливых спутников оказался нафталин, которым усыпали пол и самих себя. Несмотря ни на что, мы ехали весело, подсмеиваясь над конвойными, которых нам пришлось кормить своими припасами. Приехав в Казань, мы отказались идти с вокзала в местную Чека и направились в дом кооперативов, где были встречены ласково и преду-

предительно. И нас и конвойных накормили так, как мы давно не ели, — горячими щами, в которых плавали куски жирного мяса; спать уложили на настоящих кроватях, на мягких тюфяках, под простынями и теплыми одеялами. Наутро все же пришлось отправиться в казанскую Чека, где не знали, что с нами делать — никаких препроводительных бумаг не было. Подумав, нас временно освободили, а конвойных арестовали для высылки обратно в Москву. Теперь уже мы проводили их на вокзал, усадили в поезд, щедро одарив деньгами и продуктами на дорогу. Не даром, по новой российской моде, мы все называли друг друга товарищами; слово «гражданин» еще не вошло в обычай. Я был слаб, но чистый воздух и некоторое подобие свободы сразу подбодрили и придали сил, и, преодолевая припадки ишиаса, я не без удовольствия бродил по улицам Казани, знакомой по прежним наездам. Недели через две мои спутники, сами раздобыв лошадей и сани, в сопровождении новых конвойных, поехали дальше в Царевококшайск; мне было разрешено остаться в городе для поправки. С провинциальными властями вообще можно было ладить, тем более что они нас несколько побаивались: сегодня — ссыльные, завтра мы могли бы оказаться господами положения; о работе нашего Комитета здесь, в голодной губернии, говорили с почтением. Слабо понимали, что произошло в Москве и почему мы высланы. Я был несколько поражен неожиданными визитами ко мне казанцев, в том числе молодого человека, преподнесшего мне свой «ученый труд» — тонкую брошюрку по экономическому вопросу — с очень трогательной надписью; он оказался коммунистом, профессором казанского университета. Навестили меня и местные поэты и художники, — в Москве на это никто не решился бы. Немного поправившись, я снял комнату в полуразрушенном большом доме, где оказалась превосходная печь, купил на базаре воз березовых дров, соорудил из досок отличный письменный стол, устлал пол и завесил окна новой рогожей — и занял баринком. Кооператив, снабжавший меня всем необходимым, нашел мне и службу по книжной части, синекуру, за которую я после отблагодарил его устройством в Казани книжного магазина, — все прежние были разграблены и уничтожены.

Россия того времени была полна противоречий: провинциальный ссыльный город — тем более. Читатель будет удивлен, если я ему скажу, что мне удалось в Казани, вместе с местными молодыми силами, издавать литературную газету — лишь с видимостью цензуры, при этом частную, хотя бумагу она получала из каких-то реквизируемых складов. Все хозяйство газеты наладил, пользуясь знакомством, двадцатилетний юноша, симпатичный и нелепый местный поэт с забавным прошлым. В первые дни коммунистического переворота он оказался пламенным деятелем — следователем Чека, облеченным огромной властью. Но он по-своему понимал революцию, и когда ему послали список арестованных, подлежащих допросу и, независимо от его исхода, расстрелу, он возмутился и приказал этих арестованных, девятнадцать человек, освободить; они успели скрыться, а его лишили должности. Он рассказывал об этом с возмущением: «разве коммунизм не есть царство свободы и независимости?» Нам удалось издать десяток номеров, в которых уже появились статьи московских писателей, мною приглашенных. Редактируя

газету, я не подписывался и свое участие скрывал; но какой-то номер попал на глаза московских властей, и газету, конечно, прихлопнули — без личных для нас последствий. Ссыльный, я председательствовал на литературных беседах-митингах в казанском университете, объявленном «свободной ареной», получил бесплатно постоянное кресло первого ряда в местном театре, где режиссером был мой московский приятель, и медицинский «институт имени Ленина», маленькое аховое учреждение, по моей просьбе выдал мне удостоверение о «болезни, требующей для поправки перемены климата, желательного на климат московский, как наиболее умеренный». Все это не мешало мне оставаться в звании «врага народа» и даже подвергнуться однажды ночному обыску. «Да что вы у меня ищете?» — «Предписано обыскать, а что, мы и сами не знаем». — «Кем предписано?» — «Из Москвы телеграмма. Вы нам дайте, что есть.» — «У меня ничего нет вам нужного». — «Ну делать нечего, мы так и ответим». Получили по папиросе и ушли. Вы скажете: странное добродушие. Не добродушие, а нелепость; со мной случилось так, но та же казанская Чека прославилась кровавыми расправами. В начале революции то же случилось и в самой Москве. Мне пришлось однажды, как председателю Союза писателей, хлопотать за товарища, сидевшего в тюрьме одесской Чека, которому грозил расстрел (хотя он был решительно ни в чем не повинен). Нужно было непременно добиться перевода его в Москву, где было легче его спасти. Для этого требовались какие-то подписи троих ответственных коммунистов. Две были найдены, для третьей мне указали на «комиссара» (всех тогда называли комиссарами) довольно свирепой репутации, из простых рабочих, который будто бы уважал литераторов. Я нашел к нему ход, и он пригласил меня прийти на квартиру, в очень поздний час, почти ночью. Было очень противно, но я пошел. Квартира скромная, скорее бедная; «комиссар» в русской рубашке навыпуск, в кухне возится жена. Стол накрыт (хотя и без скатерти) для закуски; в центре бутылка водки. Комиссар явно доволен, что принимает писателя. Прежде всего — выпить. Если бы он жил с тем шиком, как его высокопоставленные соратники, я бы попытался уклониться, но дело шло о жизни моего друга, ригоризм можно отбросить; притом скромность обстановки подкупала. Мы пили три часа отвратительный самогон; комиссар не интересовался, о ком идет речь; он рассказывал о себе, о том, как уважает науку и литературу, как ему не удалось получить образование и как теперь, после революции, все пойдет по-иному, всякий будет учиться и добиваться своего. Поздней ночью, красный от водки, но сознания не утративший, резко сказал: «Ну давай, какая там бумага!» Я проглотил «ты» и сунул ему лист, который он подмахнул с тщательным росчерком. Перейдя снова на «вы», он прибавил: «Это за то, что вы не гордый человек, а кого надо, мы не пощадим». С отуманенной выпитым головой я нес домой драгоценный документ. Была спасена жизнь писателя Андрея Соболя, впоследствии застрелившегося. Но, по крайней мере, он сам решил свою судьбу.

Я довольно усердно выдержал рассказ о своей ссылке в стиле хроники. Но в сущности для меня в то время всякая «хроника» прервалась. Я мечтал жить и работать в России, рвался в нее из эмиграции, верил в революцию, оправдывал в ней слишком

многое. И вот я — враг народа, контрреволюционер; опять тюрьмы, опять ссылки, все, уже испытанное при царском режиме, в той же последовательности, с теми же знакомыми подробностями. Снова бежать за границу? Но она менее всего меня привлекала, и это уже не прежняя Европа, война неизбежно изменила ее лицо. В чем-то мы ошиблись. А может быть, это было неизбежным; не будь большевиков, было бы временное правительство, которое, превратившись в постоянное, действовало бы точно так же, были бы аресты, были бы тюрьмы и ссылки, были бы те же гонения на свободное слово, только вместо пули карала бы за него традиционная веревка. Хроника жизни делается невыносимой. Если бы можно было уйти в мир образов, совсем не видеть того, что делается вокруг, совсем не участвовать в суеде жизни! Невыносимо, когда история начинает повторяться.

Стояла в Казани суровая зима. На изразцы раскаленной печи я брызгал пихтовым экстрактом — воздух становился смолистым, и я видел себя летом в лесу, в деревне Загарье, куда меня возили в детстве. Буду писать роман. Буду как-нибудь тянуть жизнь. Но дорожить нечем и верить, кажется, не во что.

Какое прекрасное сентябрьское утро! Сияет светом наша улочка, огороды залиты золотом, за ними идет низина, по которой моими рыбацкими ногами протоптана тропинка к речке. Одинокая пара среди чужих людей, в чужой стране, сиротливые, нищие, мы в иные дни все же хотим улыбаться. Иностранцы, да еще русские, мы стали узниками приветливого французского местечка, куда спаслись беженцами в дни военной угрозы Парижу. Теперь лишены права и возможности передвижения. Но в любую минуту я могу взять свои удочки и пойти на речку Шэр. Она малорыбна, но очень красива; за рекой занятая немцами Франция, — теми самыми немцами, которые сейчас стараются раздавить Россию. В мои записки о прошлом невольно вплетаются нити настоящего, но для читателя оно будет тоже прошлым, — для читателя, уже знающего то, чего я еще не знаю. Впрочем, мне некуда торопиться в этой книге, начатой до войны и все еще ее не догнавшей.

Жизнь — картинная галерея. По улице, на которую выходит окно нашей хибарки, скоро потянутся повозки с виноградом и те незамысловатые давящие машины, залитые кровавым соком, которые странствуют по дворам местечка в дни виноградного сбора. Однако, по ходу моего рассказа, естественнее смотреть из другого окна на засыпанную снегом, нечищенную Проломную улицу Казани. Там речки Казанка и Булат, обе впадают в широкую Волгу, отделенную от города семью верстами унылых песков. Зимой — снежной поляной, изрезанной немногими дорогами. В теплом кожаном полушубке и валенках я брожу по казанскому базару, где прямо на снегу раскинулась мелочная торговля старьевщиков. Среди бытовой дряни — несчетные богатства, и я охотно накопил бы на свои гроши кучу музейных ценностей, если бы был человеком с будущим и с прочным пристанищем: томики бесценных уникалов, рукописных старообрядческих книг с цветными рисунками, чашки и чайники знаменитого Поповского фарфора, бисерные вязанья, чудесные коврики, и все — почти что

даром, по цене шепотки ржаной муки. Мой знакомый, не богаче меня, но здешний человек, завалил книгами две комнаты от полу до потолка, утонул в них в счастливом недоумении; он не искусен в отборе и бросается на все с одинаковой библиофильской жадностью. Полки кооперативного музея ломятся от новых случайных поступлений — образцов местного искусства и осколков любительских коллекций. Где бывшие хозяева этих разбитых сокровищ? Не они ли ушли в Сибирь и дальше с прошедшими через Казань добровольцами и чехословацкими отрядами?

На базаре пахнет эфиром и одеколоном, заменившими водку; до чего богата Россия! Бывший дворник дома, где я живу, теперь оказавшийся не у дел, так как дворники отменены и дома стали ничьими, ввалился ко мне божественно пьяный и насквозь проэфиренный, грохнулся на колени, поклонился до земли и промывал: «Прости меня, барин!» Я вижу его в первый раз, прощать его мне не за что. Пьяная отрыжка рабского духа. Толкаю его в бок носком валенка: «Встань, пьяная рожа, постыдись, ведь ты — гражданин!» Он обиделся: «Чего же ты дерешься? Я по-хорошему пришел. Драться нынче не приказано». Глаза красные, в войлок свалена борода; хоть бы догадался ударить меня, все же было бы мне легче. Вытолкал его за дверь: «Ступай, проспись, проснувшийся народ!» Хожу весь день мрачный, не могу забыть оскорбительного «барина». Под вечер я зашел в открывшуюся дешевую столовую, целое событие для Казани, где нет, конечно, ресторанов, как и вообще частной торговли; как возникла эта — неизвестно, и почему ее терпят; вообще в провинции новый строй путается со старым, никто ничего понять не может. В столовой дали неплохую котлету, то ли мясную, то ли из чего-то напоминающего рубленое мясо; и дали ломоть хлеба, слишком черного, но словно бы настоящего. Чудеса! Под стол забралась собака, путается у моих ног. Хотел дать бедняге хлебную корочку, сунул под стол: «Эй, где ты там?» — и собака выхватила корку синими детскими пальцами. В ужасе отнял руку: это голодный татарчонок. Женщина, служащая столовой, говорит: «Ничего не могу с ними поделаться»; вползают в дверь, как клопы, забираются под стол, крошки собирают. Главное — очень вшивые они. Иди, мальчик, иди на улицу, здесь нельзя!» Маленький скелет выползает и ухмыляется. Я вышел из столовой отравленным.

С Казанью меня роднят семейные воспоминания. В казанском университете учились мой отец, дядя и старший брат. Гимназистом я посылал свои первые статьи в казанскую газету и даже полемизировал с сотрудником другой здешней газеты, тоже прятавшимся под буквами; я был очень доволен и горд, узнав стороной, что это — прокурор окружного суда. Студентом я ездил из Москвы в Пермь и обратно на летние каникулы, парходом по Волге и Каме, и Казань была серединой пути. Старался попасть на один из мощных парходов Ольги Курбатовой, тянувших за собой баржу; парходы были прекрасно оборудованы, проезд на них дешев, buffet превосходен, и шли они не трое, а пятеро суток — два лишних дня речного наслаждения. Я не люблю моря, оно скучно и однообразно; но плыть по большой реке с изменчивыми берегами — высокое наслаждение. В Казани было несколько часов остановки, и я ездил в город посмотреть на кремль и Сююмбекову башню; есть

какая-то легенда о ней, не помню. С почтением смотрел на казанский университет, питомцем которого был и Лев Толстой. Теперь я был частым гостем в стенах этого университета, хотя большинство его лучших профессоров ушло вслед за чехословаками в Сибирь; дальше их путь — на Дальний Восток, в Китай, в Японию; оттуда океанами в места российского рассеяния — в Америку, в Австралию, черт знает куда и зачем, а кто мог — в Европу. Великий исход, переселение народов, гигантская чепуха. Оставшиеся робки, запуганы, бесцветны и уже уступают место людям большой воли и малой грамотности, «красной профессуре», путающей науку с политикой, труды великих с пропагандными брошюрками. Новая страничка в истории многострадального города. Когда-то его разоряли междоусобия, он долго боролся с Москвой, был завоеван, спустя два века разграблен Пугачевым, много раз выгорал дотла. Его история любопытна, но это не значит, что жить в нем приятно, в особенности суровой зимой. И я мечтал вернуться в Москву, об этом хлопотали мои друзья. Гражданская война кончилась, может быть, наладится какая-нибудь терпимая жизнь. Мои бывшие спутники, члены нашего Комитета, тоже хотят избавиться от ссылки, а пока, вероятно, гонят смолу и готовятся сплавлять лес на Волгу по весне; они мечтали уплыть на плотках из своей ссылной дыры, — люди бодрые, здоровые, способные строить новую Россию. Ничего о них не знаю, мне не удалось больше с ними встретиться, но они, конечно, в России, а не в глухом французском местечке.

Весной мне разрешили вернуться в Москву «для лечения»; это было тем приятнее, что я был здоров. Немногие казанские друзья устроили мне проводы и какими-то путями выхлопотали проезд в удобном «служебном» вагоне; преимущество огромное, так как несколько страшат от сыпного тифа, грозы путешественников. Вагон довольно опрятен; у меня отдельное купе, другие купе на затворе, и только еще в одном едут чины военной охраны. Выйдя на остановке на перрон, слышу за спиной шепот: «Ихний комиссар!» Возможно, что и стража считает меня тайно посаженным для контроля важным чином, — сейчас ведь не разберешься, почему едет человек в вагоне финансового ведомства; смотрят почтительно, уступают дорогу. И только в Москве я узнал, что ехал в вагоне, нагруженном отобранными в церквях ценностями.

Московский вокзал. Какие-то заградительные отряды, заставы, проверка багажа. У меня ничего нет, кроме худого чемоданчика. На площади ни одного извозчика. Приятно прогуляться пешком через всю Москву по знакомым улицам. Был я преступником, мне угрожала смерть. Теперь как будто свободен. Немало прелести в революционной нелепости. Любопытно, что у меня нет никаких бумаг, и кто я — не известно; но квартира осталась, и в ней мои книги, собранные так любовно. На углах улиц бывшие люди и мальчишки продают что-то вроде белых булочек. В воздухе — «новая экономическая политика». По пути встречаются магазины с тщательно протертыми тряпкой стеклами и с подобием витрины: частные магазины! Но люди еще остаются «сумчатыми», с мешками за спиной, иные толкают впереди себя детскую коляску, очевидно, для перевозки продуктов питания. Улица, на которой я живу, переименована. Звонок не действует — стучу. Я дома.

Я пробыл в казанской ссылке всего полгода и не считаю это время в жизни потерянным; везде есть люди, и хорошие люди, всюду — общения, о которых остается благодарная память. Комната с самодельной мебелью, поленица березовых дров в передней, сносное питание (я получал обильный «кооперативный» паек на своей службе), своя кулинария, великолепные казанские морозы, литературные беседы в малой университетской аудитории, новогодние пельмени в кругу актеров местного театра, мирные вечера в семье соседа по квартире, ласка моих молодых литературных друзей, сотрудников по газете и по устройству в Казани книжной лавки, — мне решительно не на что жаловаться. Но оказаться в роли и в положении «врага революции» и политического ссыльного, — мне, со студенческих лет включавшему эту революцию в программу своей жизни, со всеми последствиями, — это, конечно, не могло пройти бесследно. Я еще не ясно понимал то, что твердо знаю сейчас, когда тем же словом «революция», которое для нас было не только священным, но и исполненным определенного содержания, синонимом политической свободы, стали прикрывать наихудший деспотизм и величайшее насилие над личностью человека. Какой диктатор не использовал этого краденого слова? Какие гражданские цепи не выкованы из понятия «свободы»? Мы были последним поколением чистых и цельных иллюзий, могиканами наивных верований. И это наша вина: нужно было внимательнее вглядываться в глубь истории.

Эта краткая исповедь не ради политических высказываний. Ею я хотел бы только пояснить, почему те дни стали для меня, как для многих, как бы пограничными в духовном состоянии: днями не полной утраты — далеко нет! — а кризиса прежних верований, неумолимых к ним реальных поправок. Но это не значит — духовной протрации! Мы оставались живыми людьми.

Несмотря ни на что наша духовная жизнь была чрезвычайно богата, — или мне это кажется сейчас, по контрасту с копотью прозябанья в заграничном русском рассеянии, по еще пущему контрасту с сегодняшним днем сидения в глухом французском местечке, в трагическом духовном одиночестве; в образии мелькающих дней. Нет, в те дни мы все-таки пили из полных чаш настоящее вино жизни. В нищете, в растерянности быта, в неуверенности дня и ночи, в буче важного, ничтожного, грозного, смешного, в грохоте разрушений и фантастических планах созиданий мы боролись за будущее, в которое, может быть, по инерции продолжали верить. Во всяком случае мы жили необычайной, неповторяющейся жизнью, — дух никогда не угасал. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас тогда мечтал променять эту жизнь на затхлость буржуазного покоя — на кофей с булочками, воскресный отдых, умеренные идеалы и их постепенное достижение. Вечно предстоя пропастей, мы все-таки жили в стране и в эпоху необычайных возможностей. Пляска смерти на богатейшей, плодородней почве, великолепные грозы, разливы великих рек, неожиданности пробуждений, — этого не выразишь ни словами, ни образами, это нужно было пережить в редком сознании каждым себя — страной и народом. Мне, европейцу, Европа вспоминалась безвкусным блюдом зеленого горошка под кисло-сладким соусом, старушкой в чепчике, чиновником на покое. Расширенными зрачками мы смотрели на нашу

Россию, настороженным ухом ловили музыку будущего в дикой какофонии рычания, плача и восторженности. Именно тогда произошло первое отравление русских Россией, приведшее позже к изумительной слепоте, к убеждению в миссионерстве, к принятию учения о непогрешимости всех российских начинаний — от социального строительства до московской подземной дороги. Здоровое и радостное чувство, позже вытанутое хлыстом и ставшее официальным, претворилось в изуверство и самодовольство. Но если свобода стала политической карикатурой, с «отцом народов», заменившим «царя-батюшку», то виноват ли в этом сам народ, впервые научившийся читать по складам брошенную ему книжку с картинками и сразу почувствовавший себя студентом? Раньше делившаяся неравно на кучку высококультурных и миллионы безграмотных, Россия стала вся поголовно полуграмотной в изумительном поравнении сверху донизу, от властей до рабов, от писателя до писаря, от «рабочего у станка» до «служителя искусства».

Я пишу о переживаниях кругов избранных, об умственных верхах, но то же и большее испытывали слои, с ними соприкасавшиеся или раньше им чуждые, среда рабочая, обласканная обещаниями, среда крестьянская, впервые окрещенная в гражданство. О необычайном, широчайшем пробуждении сознания в этих слоях свидетельствует быстро развивавшийся в России спрос на книгу, при первой возможности показавшую миллионные тиражи, тяга к знанию, заповнившая школы и университеты, появление новой интеллигенции, еще малосознательной, но почвенной, с мозгом, взвихренным внезапно, с особым, лотманым, полународным, полукнижным языком, которым и до сих пор говорит Россия в быту и в покаленной литературе. При огромных пространствах России это пробуждение и сейчас не завершено и не вошло в прочное русло. Издали оно нам кажется искусственным и как бы протестным, повторяющим на лету схваченные и заученные фразы, — в чем много правды, — но не может быть сомнения в огромности его значения. Им пытались и пытаются руководить сверху, завивая недоразвитые мозги марксистским штурпом, сводя сознание к готовым формулам. Иногда не без успеха, — но это не страшно при наших масштабах, это смоеется в огромных потоках. Безгранична разница между европейским рабочим, удовлетворенным пропагандистской брошюрой и по ней строящим свое политическое сознание, и русским трудящимся человеком, жадным до знаний положительных, которые для него не приправа к быту, а откровение и горизонты которого настолько же обширнее, насколько сама Россия шире, моложе, свежее, сочнее и богаче своей престарелой соседки.

Охотно отдаю страницы воспоминаниям о моей России, какой я ее знал, какой ценил и как воспринимал. Но это уже последние о ней страницы; сейчас они оборвутся для меня, и жизнь не в первый раз швырнет меня за борт. Хочу, чтобы в памяти осталось как можно больше лучшего, что в России есть: зеленого шума и речных струй, земных испарений, мирного произрастания, неоглядных далей. Я пользуюсь ранним летом и бегу в деревню, на берег Москва-реки, речки-невелички, но извиистой и светлой, к соснам и листовым рощам, к коврам ози-

мых хлебов, к концерту июньских жуков, лягушек, мошкеры и дрожащих листьев.

Уехать из Москвы в деревню Борвиху не так просто. На вокзал идти пешком, потому что извозчики разъехались по деревням на сельские работы; денег им не нужно, а не голодать можно только близ земли. Поезда существуют, но нет для них точного расписания. Добравшись до маленькой станции, шагай опять пешком два-три часа через поля, краткой дорогой через овраги, болотцем по кочкам, лесом по корням деревьев, случайной тропой. То солнце, то лесная полутьма, то дух медвяный, то хвойный. Изба в деревне снята раньше, мы делим ее пополам с семьей моего друга философа, культурнейшего и превосходного человека, глубокого, терпимого, с судьбой которого и дальше совпадает моя судьба, лишь с той разницей, что он проживет двадцать лет в Клараме, я — в Париже. В деревне я немедленно дичаю — в одежде, в повадках, в распределении времени; ранней зарей на речке сплю, когда сморит усталость, пишу урывками, поймав мысль на лету, увлекшись образом. Он — как бы на подлинной даче, жизнь — правильным здоровым темпом, сам в светлом костюме, даже в галстучке легкого батиста, днем за работой, под вечер в приятных и полезных прогулках за ягодой, за еловыми шишками для растопки самовара; для шишек берет с собой легкий чемоданчик. Наслаждаясь природой, он разумно мыслит, я попросту пьян лесом, рекой, полями. Будто бы я пишу свой роман, но роман сам пишется в голове, а я больше валяюсь на траве, слушая стрекот кузнечиков, обедаюсь земляникой, брусникой, костеникой, сладко тупея от лодки и рыбной ловли, и вижу во сне речную ярь и ныряющий поплавок. Гуляет ветерок по волнам ржей, в лесу шорохи зверушек, в зелень ныряет беличий хвост, заяц удирает, прижав уши, с шумом вспархивают птицы. Здесь заповедный лес, не рубленный три века, стоявший еще в дни царя Алексея Михайловича. Кто помнит, как заповедывали рубку в русских лесах? Входили в них торжественно, с крестами и хоругвями, со священником во главе причта, служили заповедный молебен и пели «Слава в вышних Богу и на земле мир». В заповедном лесу по воле живут и умирают деревья, нет ни дорог, ни просек, валежник не убирается, не возможно пробраться человеку, и тем привольнее зверью. А попробуешь продраться вглубь — путь пресечет ствол павшей сосны, толщиной много выше человеческого роста, настоящая стена, хотя от ствола осталась одна кора. Все в зарослях и лианах, не колючих, как в южных лесах, но с мягкой настойчивостью запрещающих дорогу.

Мое последнее русское лето... Оно связано в воспоминаниях со многим личным, что дорого и важно только для меня, — при мне и останется. И вся Россия останется для меня в образе деревни со светлой рекой и заповедным лесом, — в ее лучшем образе.

В Москву не тянуло — был за все лето раза два. Однажды туда собрался мой сожитель — и в срок не вернулся. Один из дачников, приехавший из города, рассказал, что там аресты среди писателей и ученых, почему — никто не знает и понять трудно. Значит — нужно готовиться. Ночью сюда не придут, можно спать покойно, с утра ухажу с удочками на речку. Условлено, что в случае тревоги мальчик махнет мне платком с холма. Хорошо клевала на хлеб плотичка, на червячка попадался окунек. С холма

махнули платком и в то же время к перевозу подъехал по бездорожью автомобиль,— явление в этих краях почти невиданное. За речкой местный «совет депутатов», куда, очевидно за справкой, отправились на пароме приехавшие, оставив машину на нашем берегу. Все просто и понятно, и чекистская форма горожанам знакома. Один из приехавших остался с шофером в машине, но у меня нет выбора — по берегу одна тропа к лесу — мимо машины. Иду тихо и спокойно, загорелый заплатанный рыбак, смотрю на военных людей с любопытством. Дальше — в прибрежные кусты, где прошаюсь с удочками; рыбу выпустил на волю раньше — такое ее счастье. Взобравшись на береговую кручу, сразу углубляюсь в лесную опушку, мимо которой лежит единственная на Москву проезжая дорога. В пяти километрах есть деревушка избы в три-четыре, где один домик снят моими знакомыми. Правда, там же рядом, в бывшем большом барском именье, летом живут общежительно семьи народных комиссаров — Троцкого, Каменева, Дзержинского, и именье окружено высокой кирпичной оградой, — дачное гнездо предрержащих властей. Но это хорошо, в таком месте искать не будут. Добравшись до деревушки, сажусь под домашний арест, чтобы выждать, какие вести придут из Москвы. Все-таки трудно сидеть в избе безвыходно в чудесную осеннюю погоду, а в лесу как нарочно появились белые грибы — целые заросли, собирай хоть бельевыми корзинами. Выползаю с оглядкой на занятный спорт. На третий день узнаю, что часть арестованных еще в тюрьме, а часть выпущена на волю с предписанием готовиться к высылке за границу. Ни причин, ни обвинений; взяты люди, от политики далекие — «религиозные философы», ректор университета, профессор-финансист, профессор-астроном, инженер, агроном, несколько писателей, литературный критик — никакой между ними видимой связи, случайный любительский отбор. Взят, конечно, и мой сожигатель, но уже выпущен на свободу; он — московский профессор, из русских философов виднейший. Есть ли смысл скрываться дольше и до каких пор. В деревне, у нашей дачи, поставили стражу из местных парней, внушив им, что я — опасный преступник. Но парням ждать скучно, да и руки их нужны в хозяйстве. Зайдут, спросят, не вернулся ли, и уходят в поле.

Москва велика — приют найдется. Простившись с добрыми друзьями, покидаю свое убежище и иду на соседнюю с нашей станцию ждать поезда в Москву. Моим приютом в Москве будет частная хирургическая лечебница, где для меня уже готова койка в отдельной комнате и милый прием у владельца лечебницы, старого знакомого. Денек отдыха, на другой день беру телефонную трубку; я уже знаю фамилию следователя, которому поручено наше дело; не знаю только, что это за «дело».

— Алло, я такой-то, вы меня ищите?

— Да. Откуда вы говорите?

— Это безразлично, я могу к вам явиться. Но скажите, вы меня задержите?

— Я не обязан отвечать на такие вопросы.

— Но я хочу знать, брать ли мне подушку и перемину белья?

Молчанье. Затем голос отвечает:

— Можете не брать.

— Тогда я явлюсь через час.

Идти и самому сдать неприятелю — как будто

малодушно. Но долго скрываться невозможно и слишком хлопотно, не столько для меня, сколько для тех, кто дает приют. И бессмысленно: мне нечего делать в подпольях, моя жизнь всегда была на виду. Быть высланным за границу, так недолго пожив на родине, хотя и успев вкусить ее пьяно и обильно, — совсем не улыбалось. Почему и за что? Но таких вопросов в то время не ставили. Походящему анекдоту, в многочисленных анкетах, на которые приходилось отвечать гражданам нового свободнейшего строя, была графа: «подвергались ли вы аресту, и если нет, то почему». Все же Европа — лучшая тюрьма, чем подвалы Лубянки, корабль смерти и проч.

Поверив следователю, я не взял с собой ни подушки, ни белья, только добрый запас папирос и отправился в страшный дом, мне уже достаточно знакомый, где прошлой осенью едва не кончил свои дни в зацветшей плесенью камере. Идти в тюрьму не весело — даже добровольно. Развеселить мог только новый анекдот. И вот оказалось, что даже на пути в тюрьму ждут гражданина препятствия. Помещение Чека, недавно переименованного в Гепеу (признак государственной устойчивости), тщательно охранялось и смертному проникнуть туда было не просто. Первого часового я убедил соображением, что вызван по телефону, почему и не имею впускной бумаги, — ведь не доброй же волей приходят в тюрьму. Часовой смилостивился. В конторе, где у каждого оконца стояла толпа, я громко и настойчиво потребовал выслушать меня вне очереди в виду срочности заявления; я мог возвышать голос — опасаться было нечего; и при общей робости громкий голос действует. «По какому делу?» — «По делу о моем аресте.» — «Но вы не арестованы.» — «Я для этого пришел.» — «Нельзя, гражданин, без приказа.» — «Что же мне делать?» — «Это нас не касается, уходите домой.» Чистая идиллия! Пришлось опять убеждать другого часового у двери, ведущей внутрь тюрьмы, где были и комнаты следователей. Долго объяснял ему, что нельзя из тюрьмы выпускать, а туда отчего же не пустить, ведь назад свободно не выйдешь; пригрозил, что буду жаловаться. Пропустил и этот. Путался по бесконечным коридорам, пока на одной из дверей не нашел плакат с нужной фамилией. Следователь любезен: «Прежде всего подпишите бумажку». В бумажке сказано, что мне объявлено о моем аресте. «О каком аресте? Я не взял с собой подушки». Успокоительно говорит: «Вы только подпишите, я уж приготовил и другую». На другой значилось, что объявлено мне об освобождении, с обязательством покинуть в недельный срок пределы РСФСР. Любят новые чиновники бумажное производство. «И еще вот третью бумагу». На третьей значится, что в случае невыезда или бегства с пути подлежу высшей мере наказания, т. е. расстрелу. Только улыбаюсь: «Представьте мне аэроплан, улечу хоть сегодня. Можно идти?» — «Еще заполните анкету». И действительно, как же можно без анкеты в канцелярском деле. Первый вопрос: «Как вы относитесь к Советской власти?» Вопрос ехидный, — как могу я относиться к власти, находясь в тюрьме и готовясь быть высланным? И я пишу: «С удивлением». Следователь морщится, но говорит: «Пишите, что хотите, все равно уедете.» — «Теперь все?» — «Вот только подпишу вам бумажку на выпуск отсюда». Возвращаюсь теми же коридорами, солдат отбирает бумажку и натывает на штык.

Значит — вот чем стала революция. Бури выродились в привычный полицейский быт. Ну что же, тем легче будет уехать из России. Вчера это казалось мне огромным несчастьем, сегодня не нахожу в душе ни протеста, ни особого сожаления.

Мы обязались немедленно оставить пределы РСФСР (тогда еще не было букв СССР). Путь указан: Москва — Петербург (еще не ставший Ленинградом), оттуда пароходом в Германию. Легко сказать — мудро выполнить. Германия — тогдашняя Германия! — обиделась: она не страна для ссылок. Она готова нас принять, если мы сами об этом попросим, но по приказу политической полиции визы не даст. Жест благородный — мы его ценим, но пускай и нас попросят. И нас убедительно и трогательно просят: «Хлопочите в посольстве о визах, иначе будете бессрочно посажены в тюрьму». Мы сговорчивы, мы хлопочем. Буду справедлив к сегодняшним врагам, — они были к нам очень любезны: и визы, и даже обеспечение приема в Берлине, где о нас позаботится какой-то комитет, встретит на вокзале, подыщет временное для всех помещение. Переговоры задерживают нас в Москве на месяц с лишком. Мы стали «организацией ссыльных», мы собираемся, мы совещаемся, имеем своих представителей, обсуждаем свои дела. Хлопочем об иностранной валюте, об отдельных вагонах до Петербурга, о каютах на пароходе; с семьями нас семьдесят человек. Пока — мы самые свободные граждане республики: терять нам нечего, бояться тоже и уста наши не замкнуты. Нами интересуется иностранная печать, и Лев Троцкий, идеолог нашей высылки, дает журналистам интервью: «высылаем из милости, чтобы не расстреливать». Не чувствует ли Троцкий, что и сам будет выслан из милости? Нам многие завидуют: как хотели бы они поменяться с нами участью. Некоторым образом мы — герои дня. Почему именно на нас, таких-то, пало избрание, мы никогда не могли узнать: включены в списки отдельные лица, почти никакой связи между собой не имевшие. Ссылка некоторых поражала: никто не слышал раньше об их общественной роли, она ни в чем не проявлялась, и имена их известны не были. Троцкому принадлежала идея, но выполнил ее менее умный человек. Или менее злой. Мы знали, что готовятся и еще списки петербуржцев, но там взялись за дело вяло.

Лично я удивлен не был. Мы с моим дачным сожителем, профессором Н. Бердяевым, возглавляли в то время президиум всероссийского Союза писателей, слишком дорожившего своей независимостью от партийных влияний. Нужно было напугать Союз — и он напугался. Накануне нашего отъезда из Москвы я в последний раз председательствовал на заседании правления Союза — хотелось проститься с товарищами, мы так хорошо и так дружно работали. Я был одним из организаторов Союза, писал его устав, перед отъездом передал Союзу последний дар нашей «Лавки Писателей» — ценнейшую коллекцию библиографических, очень редких изданий и набор изданий рукописных — уникамы переходных революционных лет. С нашим отъездом Лавка ликвидировалась, но нас заботила судьба Союза. Идя на это последнее заседание, я заранее заготовил самую краткую и самую сдержанную речь в ответ на прощальное приветствие, которое естественно ожидал. Ни приветствия, ни речи я не внесу в протокол, чтобы не повредить Союзу. Были на очереди небольшие,

обычные вопросы организации, и мы их исчерпали в какой-нибудь час времени. Не было никаких споров, члены правления — пятнадцать человек — были сдержаны и несловоохотливы. Сейчас я объявлю повестку заседания исчерпанной, и тогда кто-нибудь попросит слова, на которое мне придется отвечать. Только бы его выступление не было резким и мне не пришлось бы просить воздерживаться от всякой политики. Повестка исчерпана. Двое-трое быстро встают и выходят, — самые осторожные. Минута замешательства — никто не просит слова. И внезапно я догадываюсь, что никто его и не попросит, что Союз уже достаточно напуган, что он уже не тот, и будущее его predetermined. Я встаю — и все встают с облегчением. В передней молчаливо обмениваемся рукопожатиями, и я задерживаюсь, чтобы никого не вынудить идти по улице вместе с высылаемым преступником. Как я был наивен со своей заготовленной ответной речью.

Дома — прощальный прием, скромный прощальный ужин, и часть тех же людей, не нашедших слова в заседании, здесь не стесняется ни в чувствах, ни в их выражении. Я это ценю — но еще никогда мне не было так грустно и так смутно на душе. Нужно очень долго жить, чтобы не удивляться и не ошибаться в оценках. В сущности ничего не случилось, люди милы, отзывчивы, нельзя сомневаться в их искренности и их дружбе. Я не сомневаюсь даже в их памяти, — ну, хоть на несколько лет; мы жили в таком тесном обществе, в такой охотной взаимопомощи. Но я сомневаюсь в том, что все они сохранят свои лица, не отрекутся от того, что казалось нам священным, — от независимости мыслей и суждений, от смелости их высказывания. Не легко уезжать, увозя с собой яд сомнений. А может быть, я слишком требователен? Мы уезжаем завтра — кто придет проводить наш поезд? Вокзал — не частная квартира.

И здесь я опускаю железный занавес.

Железным занавесом отрезана Россия, земля родная, страна отцов. Отрезана на двадцать лет, — я кончаю эти воспоминания в юбилейный год разлуки. Я уехал молодым, с чувством уверенности, что не вернусь; эта уверенность с годами укрепилась.

Россия — шестая часть света; остаются еще пять шестых. К сожалению, не всякое растение легко выдерживает пересадку и прививается в чуждом климате и на чужой земле. Я чувствовал себя дома на берегах Камы и Волги, в Москве, в поездках по нашей огромной стране, на местах работы, в ссылках, даже в тюрьмах; вне России никогда не ощущал себя «дома», как бы ни свыкался со страной, с народом, с языком. Это не патриотическая чувствительность, а природная неспособность к акклиматизации. И, кстати сказать, неохота; может быть, впрочем и гордость. Почти все мои книги написаны в эмиграции и в заграничной ссылке; в России писать было «некогда»; но жизненный материал для этих книг давала только русская жизнь — и он казался мне неистощимым. Полжизни прожив за границей, я в своих воспоминаниях не вижу надобности говорить об этой напрасной половине; она слишком лична; и потому я обрываю свои записки на невеселой минуте расставания с Москвой, моим последним «домом». Дальше будут иные оседлости, иные катастрофы и блуждания, — и вот я на берегу французской реки, имени которой

прежде не слышал. Но теперь уже совершенно различно, где жить и к чему еще готовиться: книга закончена, не стоит затягивать послесловие.

Во всех местах недолгой оседлости — в Москве, в Гельсингфорсе, в Риме, снова в Москве, в Берлине, в Париже — любовь к вороху бумаг накапливала архивы; житейские документы, записи встреч, дневники, тысячи писем. Часть исчезла при «катастрофах», часть сохранялась и снова разрасталась. Из Москвы нам не было разрешено вывезти ни одной писаной бумажки и ни одной книги; все, мною собранное, пропало. Но опять накопились «сокровища» в жизни заграничной — для новой очередной гибели.

В обществе этих постепенно желтевших бумаг и в обществе книг, которыми я всегда себя окружал, я жил, как в маленькой крепости, защищавшей от слишком сегодняшнего и во всяком случае чужого. Крепость пала, как пали многие другие крепости, казавшиеся достаточной защитой. Случалось так и прежде, но хватало жизненных сил, чтобы упрямо отстраивать заново свое убежище. Может быть, нашлись бы они и теперь, эти силы, но случилось худшее — исчезло всякое желание.

И вот, подобрав обрывки прошлого, оставшиеся не на бумагах, не в документах эпохи, не в письмах, а в памяти, я их сплетаю в книгу, чтобы уж нечего было больше хранить и беречь.

Книга о детстве, юности, молодых годах. Старость не нуждается в книге — ей довольно эпитафии.



Федор
ВОСТРИКОВ

СТЕПЬ

То скрутятся, то вытянутся стежки,
То рухнут в позаброшенный овраг.
Подсушенные засухой копешки
Степную даль щетинят на ветрах.
На копны облакачиваясь, небо
Ворочает громады облаков.
Висит над степью дух родного хлеба
И века нашего, и тех веков,
Когда металось взвихренное пламя,
Обугленные корчились хлеба...
Земля моя, святая наша память,
Судьба народа и моя судьба,
Забывать нельзя — что б ни случилось с нами! —
Горячую историю свою.
А коршун снова плавает кругами
У выцветшего лета на краю.
Но прошлому уже не повториться —
За мир восстала каждая изба:
Не упадет простреленная птица,
Не задохнутся русские хлеба.

* * *

Живя за тысячью дорог,
Всего желай, чего угодно:
Весенних дней и непогоды,
Удач, здоровья и тревог.
Не в шутку даже, не любя,
В коротких письмах, пусть нечастых,
Ты не желай мне только счастья —
Какое счастье без тебя!

МГНОВЕНИЯ

Сурово тучи стынут по-над логом,
Проскальзывает снежная крупа.
Белеют медленно в молчанье строгом
Прибрежный куст и лысая тропа.
Уже ни человек, ни зверь, ни птица
Не тянутся, как прежде, к роднику.
Лишь ветер недовольный суетится
По мокрому сквозному ивняку.
А жизнь моя отсчитывает мудро
Мгновения удач и неудач:
То яркий миг — как солнечное утро,
То черный — как нахохлившийся грач.

* * *

Суть не в том, чтоб чаще с пьедестала
Говорить о верности земле,
Главное, чтоб сердце не устало
Радоваться хлебу и ветле.
Каждой ветке, бабочке, травинке,
Каждому знакомому лицу.
Радоваться тоненькой тропинке,
Что ведет к отцовскому крыльцу.

Будущее животных, само их существование — в руках человека. Если я смогу сделать хоть самую малость, чтобы спасти от истребления какое-то животное, я буду счастлив...

ДЖЕРАЛД ДАРРЕЛЛ



ПОСЕЛИЛСЯ АЙБОЛИТ В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ

Борис РЯБИННИН

Большеречье — это примерно в двухстах километрах от Омска. Около четырех часов езды автобусом или на «Ракете» вниз по Иртышу...

С севера о берег круглого яра бьются волны Иртыша. На востоке несет свои воды тихая Большая речка. А кругом просторы заливных лугов и лесные массивы... Здесь, на высоком яру, в 1627 году и был заложен форпост Большеречский.

История села уходит в далекое прошлое.

400 лет назад дружина Ермака распахнула двери на великий азиатский простор. Но еще труден был путь в далекий и необжитый край. И потому впереди переселенцев шли казаки, расширяя и укрепляя форпостами и острогами свои границы.

Одним из таких укрепленных пунктов и был форпост № 2546, расположенный на высоком берегу речки Большой при впадении ее в Иртыш, отчего и название получил — Большеречский.

Скоро потянулись сюда крестьяне-переселенцы, в основном с Украины и Белоруссии. С проведением по Сибири железнодорожного пути стали появляться здесь маслособойни, и сибирское масло пошло в Англию, Францию, принося русской казне золото.

В 1912 году Большеречье стало волостным центром. В нем уже были церковь, школа, три торговые лавки, три кузницы и три кирпичных заводов, водяная мельница...

Ныне Большеречье — поселок городского типа. Здесь крупнейший на востоке страны маслоделательный комбинат. Производят и кумыс — целебный напиток. У большевичков всегда водились хорошие сибирские лошади.

Едешь в Большеречье — вокруг, насколько объемлет взор, поля цветущего подсолнечника. И словно пришедшие из глубины времен: Любино-Москалы, Могильно-Посельское, Увал Бытне, Почекуево, Евгашино... Так и слышится топот и ржание коней...

Но главная достопримечательность поселка — зоопарк.

Началось с того, что ребята-школьники лет семь назад привезли из леса раненого лебедя-шипуну. Выходили. Назвали Яшкой. При школе был зооуголок, который и стал приютом для белокрылого красавца. Заводилами юных натуралистов в поселке стали отец и сын, Григорий Иванович и Владимир Григорьевич Гуселетовы. По их инициативе был создан зооуголок при Доме пионеров. Завязалась дружба с обществом охотников и рыболовов, — тогда и начали притаскивать в зооуголок подранков, обреченных на гибель в лесу.

Принесли подранка-косулю. Утка попала в сеть. Нашли яйца лебедей, переправили в Любино в инкубатор, вывели лебедят. Уже в первую зиму, как добрые соседи,

жили под одной крышей куропатки и цесарки, еж и лисица, лебедь и косуля. Слово знаменитый Айболит поселился в Большеречье. Животные чувствуют обстановку и быстро идут на сближение, подавая пример людям.

Несли ребята, несли взрослые. Подбирали и приносили. Завели дружбу с Красноярской станцией юннатов, с Новосибирским зоопарком. Двух верблюжат передал красноярский совхоз. Кирсановский привез двух лопухих шачков. Кто-то еще — пони.

На школьной территории стало тесно... И тут кто-то подкинул мысль: а почему бы не открыть на общественных началах зоопарк? Кормами, оборудованием поделятся совхозы — не у мачехи живем.

А трагедии в природе продолжались, они неисчислимы, и подавляющее большинство — по вине человека. Дикая гусыня-подранок осталась на озере. Егерь подобрал, передал зоопарку. Думали гусак, назвали Тимкой, оказалась гусыня. Весной гусак к ней пристал, высидела гусят. Шестерых передала Новосибирскому зоопарку.

Из Русской Поляны привезли пару журавлей-красавок, один повредил крыло, остался. Другой не полетел «по собственному желанию»: сам явился во двор, где жил найденный...

За каждой историей — драма. Животные чувствуют, страдают, переживают свое бессилие и обреченность, как люди, а может, даже сильнее. Не потому ли на наших глазах часто гибнут от тоски, отказываются от пищи.

Животных становилось больше, но появлялись они как бы сами собой. Дрессировщик, что гастролировал с группой артистов цирка, предложил двух тигров. Таким же подарком стал гималайский медведь.

Стали появляться экзотические животные — прибавилось хлопот. Завезли морских котиков — как за ними ходить? Как содержать перепелку? На очереди розовые фламинго, антилопы, слоны, жирафы, тюлени... Нужны теплицы для страусов, террариум для крокодилов, вольеры для бобров, фазанарий (уже есть)... Стали добывать и изучать литературу. Если корова, овца требуют ухода, то что говорить о туркменских куланах?

Бывший председатель облисполкома Евгений Дмитриевич Похитайло (ныне первый секретарь Омского обкома КПСС) предложил сделать зоопарк областным. А вскоре последовало решение облисполкома: «В целях экологического воспитания и пропаганды естественнонаучных знаний... организовать областной зоопарк в рабочем поселке Большеречье с 1 августа 1986 года». А ведь еще вчера и помыслов не было.

Увлеченных людей в Большеречье много, в их числе Валерий Дмитриевич Соломатин, первый секретарь Большереченского райкома партии. Там, где дело касается детей, молодежи, быта и отдыха сельчан, не существует для него слова «запретить», «отказать».

— Собрали руководителей предприятий, колхозов и совхозов района, судили-рядили, прикидывали возможности, на счетах шелкали и решили: будем строить зоопарк настоящий... А что еще делать? Полумерами не обойтись. В районе не слышали ни одного голоса возражения, люди поняли, что зоопарк станет центром воспитания любви к природе, родному краю и вообще ко всему живому на земле...

Принялись осваивать территорию, завозить материалы, устанавливать вольеры, изгороди. Помогали жители, молодежь — школьники, пионеры и комсомольцы. Сейчас много сил берет строительство. Все ведь на общественных началах. Да и в новинку всё, никто с этим не сталкивался. Помню, привозили птиц, которых сам не видел, неужто, думаю, у нас такие будут жить? Ну, а сейчас нет в поселке организации, которая не была бы завязана...

Очень ко времени оказалась поездка в Москву. Делегат XXVII съезда партии, Соломатин встретился с ответственными работниками Министерства культуры РСФСР, побывал на приеме у министра Ю. С. Мелентьева, познакомился с директором Московского зоопарка В. В. Спициным. Договорились о встрече. «Пока вы ехали, я мучился вопросом, зачем это делегат съезда ко мне пожа-

ловал», — приветствуя гостя, сказал Владимир Владимирович.

Разговор вышел содержательный. Спицин поделился опытом, снабдил литературой.

— Посылайте своих работников, врача, мы их в гостиницу определим. Пусть учатся.

Ныне первый в стране сельский зоопарк получил статус государственного. Это самое популярное в Большеречье место, куда стремится заглянуть каждый приезжий. Узенькая улочка, сбегаящая вниз на зеленую долину, ведет прямо к зоопарку. Речка Большая вьется прихотливо в зеленых берегах, в воде плещутся утки, валяжно проплывают лебеди. У речки и разместили. Рядом пляжная зона, дендропарк, на другой стороне речки кедровая роща.

Из одиннадцати зоопарков РСФСР Большереченский обещает быть самым крупным: 18 гектаров с лишним (Новосибирский — 2 га, Свердловский и того меньше — 1,2).

Строительство зоопарка в самом разгаре, везде кучи земли, цемент, железо, доски. Словом, типичная картина, но и не похожая на другие — вокруг экзотические животные из Африки, Австралии, Латинской Америки, да и «свои», местные, тут же.хлопоты строителей их не очень смущают, привыкли к людям, но если уж очень надоест, есть куда удалиться. Вообще, бросается в глаза простор, свобода передвижения, чего не увидишь в других наших зоопарках. Наверно, ограниченность движения — одна из главных причин, почему в неволе животные не живут долго. Страдает не только их физическое развитие, но и психика.

В Большеречье немало «жилецов», занесенных в Красную книгу. Зоопарк — прибежище для многих вымирающих наших спутников, которых уже не встретишь на воле. И душа наполняется теплом, когда видишь родившихся здесь малышей. У мамы Астры и папы Шерхана появился тигренок Тарзан. И уже совсем редкость — куланенок, дитя легконогих, быстрых, как ветер пустыни, туркменских куланов. Куланы уже давно обосновались в Красной книге, в естественных условиях их не увидишь, а здесь — прибыль, возобновление вида.

Алан — молодой сервал — одиноко прозябал в Московском зоопарке, а здесь тоже в одиночестве жила сервалиха Джеки. Вскоре, как вернулся со съезда Соломатин, прибыла ему влогонку «живая» посылка, Алан получил супругу Джеки, и теперь они вместе...

Появилась в зоопарке площадка молодняка, где с наступлением тепла собирают новорожденных и чуточку подросших зверят, там они резвятся, точно дети где-нибудь во дворе большого дома. Можно смотреть часами.

Приводят в зоопарк ребяткишек из детских садов, переклашек из школ. Со зверями их знакомят опытные экскурсоводы — педагоги или сотрудники зоопарка, с раннего возраста приобщают к миру живой природы.

Большее, конечно, приезжего люда. Едут из соседних районов — Тарского, Колосовского, Седельниковского, Знаменского, приезжают даже из Омска.

В отдельные дни набирается до тысячи человек. Для сравнения: в Свердловске, в полуторамиллионном городе, где сто таких поселков, как Большеречье, 800—900 посетителей зоопарка в день.

Зоопарку обещана дополнительная территория — 200 га; с нею связывают большие надежды. Будет что-то вроде заказника.

— Хотим выпускать в природу, — говорит мой спутник секретарь райкома В. П. Чернов, — пусть живут пока на двухстах гектарах, но уже без участия человека; а потом — в дикую природу. Косули, марал, олень благородный, бизон... привезли из Рижского зоопарка зимой, прекрасно перезимовали, дали приплод. Утки, кулички, лебеди, журавли... держим под открытым небом, улетают, пасутся и возвращаются. Нам говорят: осенью все равно улетят. Пускай улетают. А кто-то вернется...

Итоги викторины «Музыка-88»

Условия викторины были опубликованы в прошлом году в № 8. Ответы получены от более чем 400 читателей, живущих в 185 городах, селах и других населенных пунктах 70 краев и областей Союза. Большинство участников викторины — учащиеся.

Наибольшую трудность представил вопрос об авторе оратории «Смерть и жизнь». Статью о музыке в фильме «Покаяние» рекомендуем посмотреть в журнале «Музыкальная жизнь» № 10, 1987 г. Многие не справились с вопросом об участнике первого московского благотворительного концерта, состоявшегося в сентябре 1987 года. Информация о нем публиковалась во многих изданиях, в том числе и в «Музыкальной жизни» № 1, 1988 г.

Правильное решение было таким:

- 1а. Витебск.
- 2а. Андрей Петров.
- 3в. «Черный кофе».
- 4в. Зураб Соткилава.
- 5а. Евгений Кисин.
- 6а. «Диалог».
- 7а. «Виртуозы Москвы».
- 8б. Елена Сапогова.
- 9в. Шарль Гуно.
- 10б. Елена Камбурова.

Призерами викторины стали:

Владимир ЕРЧЕНКО — слесарь-ремонтник из Иркутска.

Татьяна КАРАСЕВА — библиотекарь из г. Касли Челябинской области.

Татьяна ЛИНЯЕВА — учащаяся из г. Макеевка Донецкой области.

Владимир МАЛАФЕЕВ — из г. Буй Костромской области.

Светлана СУДАКОВА — учащаяся из г. Кировграда Свердловской области.

Призы победителям высланы по почте.

Продолжения музыкальных викторин просят даже те, для кого последнее задание оказалось слишком сложным и они с ним не справились. Многие настаивают на тематических заданиях. Подумаем!

Спасибо всем написавшим.





ЗАВТРАК С СОББИКАШЕ

Виталий НЕСТЕРЕНКО

Рис. Николая Мооса

С детства я запомнил эти строки, с той светлой поры, когда с книгами Купера и Майн Рида, а потом еще и с фильмами о Чингачуге наша жизнь становилась пестрой, красивой — еще лучше, чем самый прекрасный альбом для раскрасок... С той поры я прямо в классе запомнил на дом заданные стихи:

*Если спросите — откуда
эти сказки и легенды
с их лесным благоуханьем,
влажной свежестью долины,
голубым дымком вигвамов,
шумом рек...*

Да, это — из «Песни о Гайавате», озвученной, переведенной на наш язык великим Иваном Бунным. С детства я, как и многие, любил индейцев, любил в них играть. Потому и без домашнего задания выучил начало «Песни»...

В лето прошлого года я вспомнил каждую ее строку. Шел лесом от станции электрички. Название у станции звонок: Петяярви, в полусотне километров от Ленинграда.

Думал ли я, что увижу вблизи пятимиллионного города «голубые дымки вигвамов» среди «лесного благоуханья» и шума речки?!

Стоп. Поправка. Не вигвамы — другие, столь же популярные среди индейцев жилища конической формы, похожие на чумы, открылись моему взору. Отшагал я от электрички километра два.

Меня вел Вождь «краснолицых» (навстречу корреспонденту вышел сам Вождь, вот какая честь была мне оказана). Он, как и положено, был одет в расшитую хитро придуманными узорами замшевую безрукавку. На оголенной шее Вождя красовался амулет, что-то мохнатенькое — вроде бы паучок. На ногах вовсе не туфли или полуботинки фабрики «Скороход» или еще какой-нибудь обувной фирмы, даже не в «Саламандру» был одет мой проводник — а были у него мокасины, удобные, из натуральной кожи самодельки с узорчатыми украшениями из разноцветного бисера.

Накануне мы созвонились — у Вождя был обычный, ленинградский семизначный телефон. «Как я вас узнаю?» — спросил я его. «Буду с амулетом», — ответил он. Но и без амулета как не узнать на безлюдной глу-

хой остановке (дачники поутру схлынули, дело в полдневный час) человека лет за двадцать или чуть больше, с томагавком на боку...

Шли, шли мы лесом. Оказались у шумноватой чистоструйной речки. Вождь стал снимать мокасины:

— Здесь брод. Там, на другом берегу, граница индейской земли,— было мне сказано совсем серьезно, хотя я и знал карту Ленинградской области. Знал: это просто речка по имени Волчья. За ней, оказывается, индейцы?!

Перебрали. Под ногами красные ягоды созревшей земляники. Сосны и березы — все окрест наше, сызмальства знакомое. И вдруг... Среди сосняка вперемежку с березами открылась картина, которая мгновенно вернула меня в отрочество, заставила властно вспомнить «Гайавату»:

*...Где среди осоки бродит
цапля сияя, Шуг-шуга.*

Был, конечно, готов увидеть необычное. И подготовился после разговора с Вождем, которого ввечеру знал по-иному, по-нормальному как краснодеревщика Ленинградского монтажно-строительного управления Сергея Иванова. Было мне уже знакомо и индейское имя Сергея. Сергей Иванов — это для работы. А для нерабочих часов и дней, вроде нынешнего, напоенного лесными благоуханиями, Сергей становился как бы частью Природы. Как становятся индейцы настоящие, считающие себя неотделимой частью всего живого, всех, кто шагает, вроде как мы, хоть и в четыре ноги, летает, как птица, ползает, как паучок... Соббикаше — так его звали в неурочное время — что значит Паучок. Пока шли к месту проведения съезда — первого Всесоюзного съезда наших индеев, Сергей-Вождь, то есть председатель неформального объединения при Московском райкоме комсомола Ленинграда, и раскрыл мне обозначение своего амулета.

И вот это вдруг... Я хотел себя ушпнуть — до того показались все сном, невидалью. Видел вообще-то — в иллюстрациях к романам об индейцах, в гдээрвских киносерналах про Чингачука... Поверьте, за свою без малого шестидесятилетнюю жизнь я видал всякого — профессия журналиста водит по разным дорогам. Но чтобы вот так, средь приленинградского леса, встали самые настоящие вигвамы? Чтоб курились дымки из островежских крыш?!

— Не вигвамы,— опять поправил меня Соббикаше (я теперь так и буду называть Сергея), — а типи.

Типи стояли у излучины быстроструйной, петляющей и успевшей опередить нас с Соббикаше речки Волчья. Тянулись вверх дымки. Коротко взлаивала собака. Где-то хныкал малыш. Навстречу попадались люди разных возрастов, от десяти, примерно, лет до бородатых, седогривых, вроде меня. Как и на Соббикаше, на них были расшитые бисером одежды, если брюки — то с бахромой, если платья — то в геометрических рисунках. Такие даже в кооперативных лавках не купишь...

Все они уважительно здоровались со мной, поглядывая на Соббикаше. Я понял: суть не в моей персоне. Кто с Вождем — тот чтимый человек.

Начиналось мое путешествие к «нашим» индейцам...

Готовясь к описанному, то есть к этой командировке, я захотел ликбеза. Что мы знаем об индейцах?

Азы. Я с них и начал. Добыл старинный том Энциклопедического словаря, изданного еще в конце прошлого века. Начинать так начинать...

С какой бы буквы вы начали — с «и»? Так и я — начал с «и». Ну и дела... В Энциклопедии уважаемых по сей день Брокгауза и Ефрона индейскую смоквягоду я нашел в 13-м томе; перед нею следовала большая, страницы на полторы статья об... индейке.

Индейцев не было.

Кинулся к другому тому, вспоминая местожительство интересующего меня народа. Америка! «При открытии Америки европейцы,— читаю у Брокгауза и Ефрона,— нашли там только одного характеристического (так и написано, по-старинному, через «а») человека на континенте — медно-красного туземца (см. Американская раса)».

В статье «Американская раса», на странице 638, читаю про «особую, резко отличающуюся от других человеческих пород (так и написано — как про медведей или свиней каких-нибудь!) красную расу».

Дальше, слово в слово, процитирую старинный словарь: «Туземцы Америки носят еще другое название — индейцев, оставшееся за ними еще от того времени, когда первые путешественники полагали, что в открытой ими стране они имеют перед глазами крайний конец Индии...»

Теперь, надеюсь, и первоклашкам понятно, почему люди из стародавней Америки называются индейцами.

Вождь привел меня к своему типу. Это было строение из выдавшего вида брезента.

— Типи строили из шкур,— пояснил Соббикаше.— Бизонных чаще всего. А у нас с бизонами, сами знаете, напряженка...

Брезентовый заменитель бизонных шкур был изукрашен рисунками, похожими на детсадовские. Рогатая сова — индейцы считают ее мудрейшей. Сокол — знак военной силы...

Всего на полянке выстроились десятка четыре типи. Сначала я не придал значения тому, что каждый «чум» не похож рисунками или узорами на соседа. Оказалось, украшения — от стен типи до вышивок на одежде и мокасилах, рукоятках томагавков и ножей — сделаны в зависимости от принадлежности к племени, его обычаев, традиций.

...В старинном, издания прошлого века Энциклопедическом словаре уже упомянутых всеведов Брокгауза и Ефрона перечисляются индейцы юма и арканзасы, майду и шошоны, гарани и дакота... В конце века минувшего они имели более 50 языков и почти 70 наречий, не считая 62 исчезнувших языков.

Чем больше вчитывался я в эту статью, тем четче выявлялось отношение авторов к индейцам. Угрюмы. Тупы. Да что тут за чушь нагорожена?! «Немного спустя после открытия Америки потребовалось даже издать папскую буллу... чтобы разрешить сомнения касательно того, можно ли вообще СЧИТАТЬ ИНДЕЙЦЕВ ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РОДУ» (выделено мной.— В. Н.).

Ага, вот, оказывается, чем руководствовались те, кто огнем и мечом расправлялись с коренными жителями американских континентов... Напомню, после открытия Америки начались самые мрачные страницы истории ее коренных жителей.

В Большой Советской Энциклопедии, отложив в сердцах старинную, я прочитал и о предках индейцев, переселившихся в Америку тридцать или двадцать тысяч лет назад из Северо-Восточной Азии через область Берингова пролива. И тут меня как ослепло — вприкрычать архимедовское «эврика!». Кинулся к своим книжным полкам: где-то же читал о крохотной нашей народности — кетах? Живет такой народ в Красноярском крае, называют они себя «кет» — что значит «человек». По справочнику Центрального статистического управления, у нас всего-навсего 1122 человека этой редчайшей народности, и лишь 684 из них считают кетский язык родным, говорят на нем (правда, не пишут — у кетов нет письменности).

Нашел я и не так давно изданную в Ленинграде книгу А. Кондратова и К. Шилика «Как рождаются мифы XX века». Там, в частности, рассказывается об

одной научной гипотезе, которая, представьте себе, предполагает самое прямое родство этих наших кетов с индейцами!..

Представители сверхмалого народа кетов «совершенно не похожи на своих соседей — селькупов, хантов, якутов — скуластых, смуглокожих, с раскосыми глазами, — словом, принадлежащих к монголоидному типу. У кетов светлые волосы, голубые глаза, орлиный профиль. Отчасти они напоминают европейцев, ОТЧАСТИ — ИНДЕЙЦЕВ АМЕРИКИ...» Три последних слова, выделенных уже мною, видятся очень интересной гипотезой. Есть ученые, которые и кетов, и североамериканских индейцев считают, что называется, родными братьями — вот что меня чрезвычайно заинтересовало.

Но откуда же столько неприязни к индейцам в старинном словаре?.. «Тушы»? Да если бы не индейцы, мы много чего не имели бы! Эта древняя и мудрая народность создала замечательные памятники архитектуры, изобразительного искусства, народного поэтического творчества... Поньше славятся индейцы как мастера плетения, ткачества, вышивки. Народы всего мира именно от индейцев — возможных родственников наших кетов — восприняли возделывание картофеля и подсолнечника, хлопчатника и какао-бобов. Каждый курильщик, может, и не ведает, что табак тоже пошел по миру от индейцев... А их древние города, их древняя цивилизация?!

Все, что надето на моих новых знакомых, расшито, изукрашено, — все это сделано собственноручно. Таков один из принципов, которому следовали собравшиеся на съезд более 70 представителей самодельных этнографических клубов со всех концов страны. Из Москвы и Ленинграда, Минска и Свердловска, борodatые и юные...

С кого начать знакомство? Подойду к этим трем ребятам — Вождь сказал: они из Свердловска.

Костя СИДОРОВИЧ, только что окончил восьмой класс 112-й школы, намеревается поступать в ПТУ № 89, чтобы учиться на станочника:

— Увлечаться всем индейским начал с детства, когда прочел книжки о храбром, мужественном и талантливом народе. Но раньше я просто, как бы сказать, «играл в индейца», ну, как все мальчишки играют... В библиотеке им. Тюленина случайно познакомился со взрослыми индейцами, стали общаться. И теперь я не считаю главным надеть там мокасины, прицепить томагавк... Нет! Не внешне, а внутренне походить на индейца. Видели там, в центре поселка: к березе ниточками прикреплены правила поведения индейцев? Нельзя вредить березе — кнопками, скажем... Ничего живого — а дерево тоже живое — индеец не трогает.

— А охота?..

— Так это же ради питания, необходимость. Для типа мы, например, берем только высохшие жерди.

Виктор МИЛОШЕВСКИЙ, комсомолец, профорг группы из ПТУ № 79:

— ...И нельзя, к примеру, ножик втыкать в землю: индеец свято верит в то, что и земля, его кормилица, — тоже живое существо. Это сейчас весь мир понимает — экологические проблемы его мучают... Меня лично это привлекло к индейцам.

Дмитрий КОНОНОВ, перешел в 9-й класс, школа № 140:

— К кому именно себя отношу?.. К индейцам дакота. Пробую изучать дакотский язык — очень интересный, красивый и точный язык. Считаю, что наше увлечение помогает интеллектуальному развитию, да и выбору профессии, бывает, тоже. У нас есть как бы староста свердловской группы — Алла Смолякова, она свое индейское увлечение сделала профессией, поступила на исторический факультет УрГУ, закончила его, диплом писала об индейцах.

С Аллой меня познакомил Вождь. Это оказалась милостивая девушка в платье, расшитом геометрическими рисунками — не так-то просто, в них тоже имеется определенный смысл. Какой?

— Понимаете, в рисунке зашифровано чисто личное, можно это не пояснять?..

— А как ваша дипломная работа называлась, Алла?

— «Социально-культурное развитие североамериканских индейцев под гнетом монополистического капитала США 70-х годов XIX века — 80-х годов XX века». Получила «отлично». И назначение получила: буду преподавать историю в Каменске-Уральском...

—...Что за инструмент сейчас играет в соседнем типе?

— Подлинная индейская дудочка, вроде флейты. Ее подарила нам самая настоящая индианка из Штатов — гостила в СССР и узнала о нас.

— Какие работы вам пришлось изучать, когда писали диплом?

— Как ни странно, у нас в стране много серьезных ученых, занятых индейским вопросом. Это, например, научные сотрудники Московского института этнографии Стельмах, Чешко, Тишкова. А самый крупный, считаю, специалист — Юлия Павловна Аверкиева. Она еще в тридцатых годах начала изучать индейство, ездила на стажировку в Штаты, жила там в индейском племени и даже получила индейское имя.

— Как это у вас называется — съезд по-индейски?

— Называется «Пау-Вау» — индейский праздник лета, солнцестояния.

За брезентом похныкивает малыш. Среди собравшихся на Пау-Вау есть и семейный народ... Вспоминается Чехов, как в его рассказе дети мечтали о стране доблестного Монтигомо — Ястребиного Когтя. Вспоминается и другое отношение к индейцам: название индейского племени апаш носили парижские... бандиты и воры. И все же — в нашем, российском, русском сердце — индеец был всегда хорошим человеком.

Я успел узнать, что зовут малыша Минутка, что ему два года и два месяца от рождения. Он прибыл в лагерь вместе с мамой, воспитательницей одного из ленинградских детсадов Татьяной Филипповой. Папа — тоже индеец, но у него, милиционера по профессии, важные дела, не смог приехать.

Каждый день на Пау-Вау — напряженный, со своим лицом, с главным событием. В ночной костер, например, зажигается Трубка Мира. Ее сделал Соббикаше из красного канадского лабрадора. Красива она, наверно, но постороннему глазу не показывается. Обычай здесь соблюдаются. С моими коллегами, корреспондентом «Комсомолки» и фоторепортером из «Собеседника», даже казус вышел. Я спросил, где они расположились, и услышал полусерьезный-полушутливый ответ:

— А там, за березами, в резервации для белых...

Ближе к полуночи вспыхнул большой костер, начался праздник. Зазвучали выученные с подлинных звукозаписей песни на языках дакота и оджибва. Зазвучали и песни-самodelки:

*Среди осточертелой суеты,
из праха дней, утраченных в веках,
в реальность воплотились наши детские мечты —
индейский лагерь в вымерших холмах...*

Все выше пламя костра. Все резче рокочет бубен. Не нужно подбадривающего крика массовика: «Танцуйте все!». Танцуют действительно все — самозабвенно, яростно. Танцует слесарь из Казахстана, студент-москвич, научный сотрудник-ленинградец...

С ним, научным сотрудником Ленинградского института прикладной астрономии Евгением Малаховым, у меня вышел как бы спор. Я стал звать к национальной, интернациональной гордости: «Ну почему вы, к примеру, не приметесь подражать абхазам или адыгге? Оба народа — нашей страны, интересны этногра-

фически, с древней историей, славны отвагой, мужеством, конники-воины, с высоко нравственными обычаями?..»

Евгений вопросом на вопрос ответил:

— Но вы ведь тоже в детстве играли именно в индейцев?

Спустя две недели после Пау-Вау Евгений принес мне интереснейшую книгу чеха Мирослава Стингла «Индейцы без томагавков», трижды у нас изданную. Я выписал оттуда: «Они (индейцы) прошли кровавую купель конкистадоров и «духовную купель», уготованную им различного рода миссионерами, их не сломил гнет колонизаторов, королей олова и латифундистов. Они пережили всё, не умерли. И не умрут, не вымрут завтра...»

А встретились мы позже еще вот почему. Я просил принести мне текст телеграммы в США, посланной в прошлом году. Вот какая телеграмма пошла в Штаты, в тюрьму, куда заточили по несправедливому обвинению индейского патриота на два пожизненных срока: «POW 89637 PO Vox 1000, Ливенуорт, Канзас, 66048, USA (в тексте указаны тюрьма и номер камеры). Дорогой Леонард. Мы помним Вас и обеспокоены Вашей судьбой. Ваша боль — это наша боль. Пусть эти слова согреть Ваше сердце. Мы верим в справедливость и сделаем всё, чтобы Вы были с нами. От имени Ленинградского комитета за освобождение Л. Пелтиера (подписи)». Такая же депеша отправлена и нынче.

Как-то я приехал в Петяярви еще до пробуждения лагеря. К тому времени он уже получил, как заведено у индейцев, имя — Березовая Кора. Знакомыми лесными тропами дошел до брода. Березовая Кора отдыхала — ночью была «учебная тревога». Бубном молодых «воинов» подняли на защиту от условного противника. Вмиг поселок вооружился копьями, луками, томагавками... Приз — банка сгущенки.

Разумеется, копьа ни в кого не метались. Дело в том, что у индейского воина, помимо вооружения, имеется и расписная палочка-выручалочка. В момент боя достаточно дотронуться этой палочкой до головы противника — и поединок окончен: противник безутешно опускает руки, он повержен.

Так что после ночных «боев», когда молодые ребята-допризывники осваивали воинскую азбуку, подъем был поздноватый. У одного из типи, на двух индейских «креслах», сплетенных из гибких веточек, у меня была назначена встреча с победителем конкурса следопытов Женей Завалинским.

— Троплением давно занимаюсь, — негромко, чтобы никого не будить, рассказывает Женя. — Этой зимой вытродил большого красного лисовина, красавец!.. А когда весной шел за лосем, вдруг поймал себя на том, что стал вроде бы «думать» лосиным разумением: куда бы я дальше свернул — в кусты, к болоту?.. В болоте ветку сбитую увидел, мох помятый...

Зимний или осенний лес, следы... Как же мы все, люди машинно-электронного времени, высизивая у ТВ, отвыкаем читать эту вечную и прекрасную книгу природы!.. Ну, вот Женя — промысловик. А ведь можно и просто восторгаться следами зверя, читать их...

Разговор перебивает глашатай. Он идет меж типи и бьет в расписной бубен:

— Солнце встало давно, подъем, подъем!

Бубен, как и яркие, собственноручно сработанные одежды, утварь, обувь, — тоже самоделка. Каждый из индейцев овладевает и швейным, и шорным, обувным мастерством, может вышивать бисером, цветной нитью. Тоже, по-моему, дело. А то иной вымахает под два метра и канючит, не умея иголку с ниткой держать: «Мама, пришей пуговицу!» А попадая в армию, и вовсе измазается, пока сам себе, как и положено солдату, подошьет к гимнастерке свежий подворотничок...

Еще одна встреча назначена у меня в креслах-пле-

тенках. С Володей Борисовым, по имени Медвежья Лапа. Володя — слесарь в обычное время, а в свободные часы — словно «дед-всевед»: занят сбором лечебных трав. Мы — каковы?.. Устройство инфузории знаем на зубок, а лапчатку гусиную под ногами знать не знаем: полезна ли, вредна?..

...А помимо трав и растений и прочих навыков-умений, индеец должен знать английский язык — на нем выходят специальные журналы об индейцах и другая литература. Помимо напряженки с бизонией, в нашей стране еще и напряженка с бумагой, только этим, вероятно, можно объяснить, что в США и Англии, ЧССР и Японии, Польше и ГДР выпускаются специальные этнографические печатные издания. В частности, при мне ребята из Березовой Кору перефотографировали страницы венгерского журнала — самого настоящего, не какой-нибудь «самиздатской» поделки, хорошо изданного, с цветными иллюстрациями. Но мало ли что есть в Венгрии...

Потянулись дымки из горловин типи. Нынче я зван к завтраку в типи Соббикаше-Паучка.

Он принимает меня сидючи, как положено хозяину, прямо от входа. Как почетного гостя меня располагают по левую руку Вождя. Подают макароны с тушенкой — напряженка с бизоньим мясом!

Я узнаю, что не всегда была столь привольна и радостна жизнь индеев.

— Долгие годы нам ничего не позволялось. Считали: отвлекаем молодежь от решения насущных задач, мешаем комсомолу. Даже называли «фашистами с томагавками»... Теперь комсомол взял нас с собой.

В особой папке у Соббикаше — свидетельство, отпечатанное на бланке Московского РК ВЛКСМ г. Ленинграда: «Настоящим уведомляется, что со 2 по 10 июля 1988 года в районе ж-д. станции Петяярви этнографическим клубом «Этнос» Молодежного культурного центра Московского района проводится Всесоюзный слет этнографических клубов. Секретарь РК ВЛКСМ — А. Г. Овчинников. Руководитель клуба — С. А. Иванов», — тот, что сейчас потчует меня душистым чаем, на каких же травах он настоен?

Говорим с Сергеем-Соббикаше, что кончается скоро Пау-Вау, опять надо приниматься за свои повседневные дела, надо принимать и свои законные, ЗАГСами и родителями данные имена... Говорим о проблеме всесоюзного журнала — индеев по стране великое множество: в Петяярви приехали посланцы десятков этнографических клубов. Возникает идея кооператива. Такие мокасины, как на Соббикаше, с радостью бы приобрели многие молодые люди, не желающие носить стандартную обувь. Мокасины — я примерял — очень удобны в носке, нога в них просто отдыхает. Наверное, и от индейских сумок не отказались бы люди, и от поясов, браслетов, вышитых бисером.

Энтузиазм, инициатива тут нужны? А это всё, как я убедился, у индеев имеется.

...С сожалением покидал я Березовую Кору. Оглянулся. По поселку размеренным шагом продвигались двое — ответственные за порядок и чистоту. Как и в настоящих индейских поселениях, они здесь называются акациты. За время, проведенное в лагере, я не увидел хлама, клочков бумаги или, чего доброго, консервной банки. За нарушение чистоты леса у акацитов есть полномочия немедля, без составления протокола и других «цивилизованных» формальностей — стегать плетью.

Правда, не понравился мне ритуал посвящения в эти самые акациты — их нешуточно трижды бьют плеткой по лицу... Дескать, знай, когда начнешь сам других наказывать, как это больно... Не очень это мне понравилось. Но не станешь лезть со своим уставом в чужой монастырь...

См. 4-ю стр. обложки.



Александр СЕМЕНИН,
Иван БЕЛЯЕВ

Экзоты на окнах

Виноград

История виноградарства не знает тех острых перипетий, которыми сопровождалось введение в культуру картофеля и кофе. Но без столкновения интересов и взглядов не обошлась и она. Коран и ислам, запрещавшие употребление вина, сурово преследовали всякие попытки разведения винных сортов. И отголоском былых запретов воспринимаются сегодняшние традиции в разведении тех или иных сортов: так, в Средней Азии почти исключительно выращивают сладкие столовые сорта, а в Грузии, где влияние религии сказывалось гораздо меньше, преобладает культура сортов, предназначенных для получения виноградного вина. Но и там сейчас происходит перестройка: удельный вес винных сортов постепенно уменьшается.

Культура винограда возможна и на Урале, причём не только в комнатных условиях и оранжереях, но и в открытом грунте. Ещё в конце 19 века начались опыты по выращиванию «солнечного» растения в Башкирии. Разумеется, на первых порах инициаторов разведения винограда ждали неудачи: простое перенесение южного растения на север — занятие малоперспективное. Но садоводы и ученые не унывали: они испытывали разные сорта, прививали их на холодостойких подвоях (например, на винограде амурском, происходящем с Дальнего Востока, где он выдерживает морозы до -40°C), проводили отбор лучших семян; разрабатывали методику обрезки и укрытия на зиму виноградной лозы.

И, наконец, пришел первый успех. Сегодня такие сорта, как «Мадлен Анжевин», «Альфа», «Пино черный», «Русский конкорд», «Маленгр ранний», «Шасла белая» и др., «прописаны» в некоторых хозяйствах на Урале.

И все же признаем: разведение винограда на Урале доступно пока немногим. Вот почему интересна комнатная культура винограда.

Все, кто решил вырастить виноград у себя дома, должны прежде всего научиться правильно обрезать это растение.

Формируя куст, надо до конца быть последовательным. Как ни одно другое растение, виноград не любит вольного с собой обращения. Интересно, что «первооткрывателем» обрезки винограда был... осел. Заметили люди, что лоза, верхушки которой объедались этим животным, плодоносила на следующий год гораздо обильнее, чем те растения, которые росли «сами по себе».

В комнатах лучше использовать четырехрукавную верную формировку куста. При выращивании в открытом грунте создается она за 3—4 года, в теплицах и комнатах — за два.

Но прежде надо достать посадочный материал. Размножать виноград лучше всего черенками. Садить их предпочтительнее не в ящик, а в 0,7-литровые горшки. В субстрат они погружаются глубоко — на $\frac{2}{3}$ своей длины: над землей остается лишь верхушка черенка с двумя почками. Из этих почек и должны развиваться на первом году жизни растения два побега. Боковые ответвления (пасынки) следует удалять. В конце ноября, когда у ра-

стения опадут листья, оба побега коротко обрезают — от них оставляют пеньки, несущие 2—3 почки.

На следующий год (в начале февраля) из пеньков начинают расти по 2 побега (т. е. всего 4). (Третью почку на каждом пеньке, если она есть, удаляют). Когда они достигнут длины 30 см, их прищипывают. Небольшой надземный штамбик и эти 4 побега (рукава) составляют многолетнюю часть растения: каких бы принципов обрезки мы затем ни придерживались, она сохраняется всегда. Из пазушных почек на рукавах развиваются боковые побеги, из которых оставляют лишь два верхних, а остальные выщипывают.

К концу второго года развития наступает очень ответственный момент. Выросшие к этому времени молодые побеги (по 2 на каждом из 4-х рукавов) обрезают по-разному: одни, расположенные выше и на внутренней стороне рукава, — на 8—12 почек (это так называемые плодовые стрелки — именно на них появятся на следующий год цветки и плоды). Другие побеги, находящиеся ниже и с внешней стороны рукава, обрезают коротко, оставляя от них пеньки с 2—3 почками, называемый сучком замещения.

Таким образом, к концу второго года развития на растении сформированы 4 рукава, на каждом из которых имеются одна плодовая стрелка и один сучок замещения.

На следующий год на плодовой стрелке появляются соцветия, а затем и плоды. В конце осени, после уборки урожая и листопада, она вырезается на кольцо, так как в будущем плодов на ней больше не будет — цветочные кисти возникают лишь на молодых однолетних побегах, развивающихся на многолетних рукавах. Однако откуда возьмутся новые плодовые стрелки, если осенью мы их полностью вырежем? Для этого и служат сучки замещения.

На третьем году жизни на впервые сформированной плодовой стрелке появляются соцветия, а на сучке замещения развиваются два бесплодных побега (третью почку сучка, если она есть, удаляют). Но роль их далеко не бесполезна: во-первых, они дают растению необходимую листовую массу, без которой нормальное развитие и плодоношение невозможны, а во-вторых, создавая эти бесплодные побеги, мы проявляем заботу о будущем урожае: из одного побега на сучке замещения получают в следующем году новую плодовую стрелку, а из другого — новый сучок замещения. Вся разница между стрелкой и сучком замещения лишь в том, что для создания первой побег обрезают длинно (оставляем 8—12 почек), а для образования второго — коротко (оставляем 2—3 почки).

Те правила обрезки, о которых мы рассказали, — это основа, без которой трудно рассчитывать на успех. Стоит только заметить, что четырехрукавная веерная крона — не единственно возможный способ формирования. В не очень светлых помещениях более целесообразна двухрукавная форма кроны. При такой обрезке первый урожай удаётся получить уже на 2-м году, а ветви растения меньше затеняют друг друга.

В южных районах страны и в тепличных хозяйствах, где нет угрозы вымерзания растений, используют совершенно другой вид обрезки — многорукавный вертикальный кордон, при котором главный побег долгое время не прищипывается, а многолетний рукава, последовательно формирующиеся из его пасынков, направляются в противоположные друг другу стороны по вертикальной опоре. Такое фор-

Окончание. Начало в № 2, 3.

мирование кроны нам довелось наблюдать в совхозе «Свердловский». Здесь в трех больших теплицах общей площадью 1,5 га произрастает несколько сот виноградных растений 10—11-летнего возраста. Первые плоды собирают уже в середине мая, а последние — в августе: общий урожай составляет 6 тонн. Возделываются сорта «Барбара», «Дамские пальчики» и особенно — «Франкенталь». Последний очень популярен на Урале. Его выращивают в оранжереях Ботанического сада УрО АН СССР, в теплицах крупнейшего в Свердловске совхоза «Орджоникидзевский», а в комнатах — садоводы-любители. Такая привязанность к «Франкенталю» вполне объяснима: сорт высокоурожаен, относительно устойчив к болезням и вредителям, а самое главное — цветки у него обоеполые и самоопыляющиеся.

Состав почвы также очень важен при разведении винограда. Иногда приходится читать и слышать, что плоды у растения более крупны и сахаристы при культивировании его на бедной песчаной почве. В этом утверждении есть доля истины. При разведении на песчаной почве рост винограда, разумеется, замедлен, на образование листовой массы не тратится столько питательных веществ, как на плодородной почве. Напротив, развивающиеся плоды получают «дополнительное питание» — оттого они и крупнее, и слаще. Однако это растение отстает в развитии, годовой прирост побегов у него значительно меньше, листовая масса не в состоянии «прокормить» все соцветия, которые закладываются на плодовых стрелках, и как результат — резкое снижение урожайности. Как видим, дорого стоит сладкая ягода, выросшая на песчаной почве.

Хорошие результаты дает выращивание винограда на такой почвенной смеси: дерновая земля, перегнойная земля, песок — 3:2:1 с добавлением небольшого количества известки (старой штукатурки, например).

Большое значение имеет температурный режим. Зимний период покоя виноград лучше всего проходит при температуре 0—+5 °С. В тепличных хозяйствах такая температура достигается за счет снижения мощности в работе отопительных систем. Однако в комнатах подобные условия создать практически невозможно. Хорошо, если есть у вас непромерзающий подвал — поставьте туда на декабрь — январь свое растение.

Для распускания почек (в феврале) необходимо, чтобы температура воздуха была выше +10 °С. Затем, на период до образования цветочных кистей, ее повышают до +20—22 °С.

В комнате для растения следует выбрать самое светлое место. Летом полезно перенести его на балкон.

Очень важна профилактика болезней и вредителей. В районах промышленного виноградарства растения поражаются иногда глечей филлоксерой и грибковой болезнью милдью. Их появление и распространение приводит к гибели многих растений или значительному снижению урожая. Урал не входит в зону заражения этими патогенами. Но многие садоводы-любители привозят черенки и саженцы с юга нашей страны. Обязательно убедитесь в таком случае в чистоте посадочного материала! А черенки перед посадкой для профилактики обработайте 3-процентным раствором железного купороса (погрузите 2 раза на 2—3 сек).

Едят виноград в свежем виде, а также сушат, маринуют, консервируют, замораживают — используют все возможные способы, чтобы сохранить целебные свойства ягод. Изюм находит применение в хлебопечении. А войны Востока для восстановления сил издавна пользовались такой питательной смесью: кишмиш (сушеный виноград) + ядро грецкого ореха.

Крупные семена в ягодах винограда расцениваются обычно как нежелательное их свойство. Но и они, оказывается, полезны: высушенные и поджаренные, служат неплохим суррогатом кофе; из семян же получают и пищевое масло.

Молодые листья винограда служат для приготовления голубцов вместо листьев капусты. А во многих районах Закавказья и Средней Азии из них готовят аппетитные щи, салаты и даже квас...

Фейхоа

По окончании одной из экскурсий в оранжерею Ботанического сада УрО АН СССР мы предложили экскурсантам приятный эксперимент — испробовать по ломтику созревшего плода фейхоа и попытаться описать его вкус.

Многие высказали предположение, что он похож на нашу лесную землянику. А один мужчина даже предложил формулу: земляника + банан + облепиха + ...немного сосновой хвои. «Банана» при дегустации никто из нас «не приметил». Но вот с «сосновой хвоей» все согласились сразу.

Фейхоа — невысокий раскидистый кустарник, до 3—4 м в высоту, издали его можно принять за молодую маслину — листья у обих растений сизовато-зеленые и очень плотные, только у фейхоа они гораздо шире. Растет фейхоа в Бразилии и Уругвае, Парагвае и Северной Аргентине — и повсюду встречается по океаническому побережью, словно жить может лишь там, где играет вольный морской ветер.

Биология фейхоа изучена недостаточно. Вот почему в нашей стране его посадки занимают мизерную площадь — всего 1500 га (в Абхазии и Аджарии). «Подступы» к растению только начинаются. Но ботаники уже выяснили: черенками растение почти не размножается, а все разнообразие форм фейхоа, дикорастущих и культурных, можно подразделить на перекрестноопыляющиеся, самоопыляющиеся и партенокарпические. Поэтому очень важен правильный выбор посадочного материала. Комнатные садоводы могут рассчитывать на успешное выращивание лишь самоопыляющихся и партенокарпических сортов. Особой популярностью пользуются среди них «Кулиндж», «Суперба», «Никитский ароматный», «Крымский ранний», «Чойсеана» и др. Достанете один из них — будете собирать плоды фейхоа в комнате!

На черенки используют полуодревесневшие побеги длиной 8—12 см с 1—3 листьями. Срезают их (после окончания осеннего роста) в ноябре — декабре и обязательно замачивают в растворе гетерауксина (100 мг на 1 л воды) в течение 16—18 часов. Даже при обработке стимуляторами роста укореняемость черенков фейхоа обычно не превышает 30 процентов. Укореняя черенки этого растения, надо проявить максимум заботы и осторожности: температуру поддерживают в пределах +26—28 °С, влажность воздуха должна быть очень высокой (90—100 процентов). Поскольку укоренять черенки приходится зимой, то надо обязательно досвечивать их лампами накаливания или дневного света (60—100 Вт), удаленными от верхних листьев на 30—40 см.

Начало зимы, как выяснилось, — не единственный возможный срок черенкования. Свердловчанка Т. С. Алексюк посадила черенки в апреле, используя на них те части активно растущих в это время побегов, которые успели полуодревеснеть. Субстратом служили опилки, смешанные с почвенным грунтом «фиалка». Этой смесью Татьяна Сергеевна заполнила небольшой горшок, в который и посадила черенки. Сам же горшок разместила на широкой доске, поставленной на еще топившуюся батарею, и закрыла его стеклянной банкой. Температура почвы и воздуха в получившейся микротеплице была довольно высокой (+30—35 °С); поэтому черенки приходилось часто проветривать и опрыскивать. Укоренились они через 1,5 месяца.

Значит, укоренить черенки все-таки можно, но не так легко получить ветку ценного сорта. Проще купить плоды, в которых содержится много мелких, с хорошей всхожестью семян, посеять их, а когда подрастут, отобрать самые урожайные кусты. Быть может, окажутся у вас и формы, вовсе не нуждающиеся в опылении. При семенном размножении у фейхоа возможны любые неожиданности — изменчивость южноамериканского экзота очень высока. У некоторых его форм при семенном размножении... не бывает расщепления! А это значит, что их потомство также будет самоплодно. Поэтому и при посеве есть надежда на получение плодов в комнате. Но, как и при вегетатив-

ном размножении, здесь очень важно правильно выбрать посевной материал.

Отыскать «нужные» семена, посеять их в почвенную смесь такого состава: дерновая земля, перегнойная земля, песок — 1 : 1 : 1 — в небольшую плошку или посевной ящик. Семена мелкие, поэтому заделывают их неглубоко, едва присыпав землей. Посевы поливают лейкой с мелким ситечком, увлажняя фильтровальную или промокательную бумагу, положенную на поверхность почвы. Лучшее время для посева — февраль, при этом желательно использовать свежесобранные семена. После отделения от мякоти плода их достаточно подсушить 5—6 дней, как они готовы к посадке. Хорошо вызревшие семена при оптимальных условиях прорастания (температура +23—25 °С, систематическое равномерное увлажнение почвы) дают первые всходы через 3—4 недели. При созревании плоды фейхоа становятся желтыми или красными, иногда оранжевыми, изредка фиолетовыми и даже черными. Похожи они на маленькие огурчики, у которых на вершине остается цветочная чашечка — точь-в-точь как у граната.

Фейхоа достаточно светолюбив, хотя может переносить и некоторое затенение. Во всяком случае, на окнах с южной, юго-западной и восточной экспозиций от недостаточной освещенности не страдает.

В природе растение уживается на очень бедных, песчаных и каменистых почвах, однако на почвах богатых и плодородных развивается гораздо лучше. Для молодых растений (до 3-х лет) рекомендуется такой питательный субстрат: дерновая земля, перегнойная земля, песок — 1 : 1 : 1; для взрослых долю дерновой земли надо увеличить вдвое. Время от времени устраивайте им «морские бризы» — осторожно опрыскивайте их листья теплой водой, особенно это важно в жаркие летние дни и зимой, когда воздух очень сух.

Являясь вечнозеленым растением, фейхоа продолжает развиваться и зимой. Оптимальная температура воздуха в зимнее время +10—14 °С.

Фейхоа имеет вид раскидистого кустарника, а боковые ветви растут у него в самых разных направлениях, однако обрезать побеги, формировать «правильную» крону не рекомендуется. Дело в том, что цветки и плоды образуются на ветвях текущего года и всякое укорачивание последних неизбежно скажется на урожае. Следует лишь прищипнуть молодые растения, когда они достигнут высоты 15—20 см, — это придаст кусту более приземистую и компактную форму.

Растет фейхоа довольно быстро, и первые три года его пересаживают ежегодно. При пересадке будьте осторожны: ветви кустарника очень хрупкие и легко ломаются. Осторожность следует соблюдать и при размножении растения отводками, когда нижние ветви пригибаются к земле. Фейхоа обильно образует корневую поросль, которую постоянно удаляют. При пересадке можно отделить ее от материнского растения, что даст возможность использовать еще один способ размножения.

«Широколистная маслина» мало подвержена поражению болезнями и вредителями. При длительном переувлажнении почвы возникают серая гниль, фузариоз и другие грибковые заболевания. Из вредителей особенно досаждают отдельные виды щитовок и ложнощитовок, а в помещениях с сухим воздухом заводится паутинистый клещик.

Как всякое растение, приспособившееся в природе к жизни на бедных почвах, фейхоа очень отзывчиво к внешним удобрениям. Виды, дозы и сроки подкормок мало отличаются от таковых для цитрусовых.

Некоторые садоводы-любители, добившиеся плодоношения своих питомцев, жалуются: еще твердые и незрелые, плоды опадают, причем иногда почти все. Не огорчайтесь, соберите опавшие плоды и положите их в темное и теплое место — как помидоры, они отлично дозревают в лежке.

Плоды фейхоа, в зависимости от сорта, весят от 15 до 120 г. Содержат сахар, яблочную кислоту, пектиновые вещества, витамины А, С и Р. Хороши в свежем виде, используются для начинок конфет, перерабатываются в дже-

мы, сиропы и варенья. На садовых плантациях с одного куста собирают от 8 до 30 кг плодов, а в комнатах при соблюдении всех агротехнических правил их урожай может составить 2—3 кг.

Псидиумы

Все растения, о которых мы рассказали, — это уже традиционные комнатные плодовые культуры.

А есть ли что-нибудь совершенно неизвестное даже дошным любителям южных плодовых экзотов? В Ботаническом саду УрО АН СССР такие растения найдены. Многолетние наблюдения показали: в когорте перспективных плодовых культур особенно интересны псидиумы. Годятся они для разведения в оранжереях и комнатах, а возможно, и для широкого культивирования в тепличных условиях.

Псидиумы — вечнозеленые раскидистые кустарники или небольшие деревца из семейства миртовых. Происходят они из субтропических районов Южной Америки.

Плоды этих растений обладают кисло-сладким освежающим вкусом и нежным земляничным ароматом, богаты витаминами А, С и Р, железом, кальцием, фосфором, а также пектиновыми веществами и органическими кислотами. Едят их в свежем виде, перерабатывают на джем, варенье и компоты.

Самый известный псидиум — гуаява — давно стал в тропиках популярнейшим фруктом. Однако это растение слишком высоко (в природе — 8—10 м). Для разведения в комнатах подходят другие виды, например, псидиум прибрежный и псидиум Кэттли. Это вечнозеленые раскидистые кустарники, достигающие на своей родине высоты 3—5 м. В оранжереях и комнатах они обильно цветут небольшими белыми цветками, отличающимися своеобразным сильным ароматом.

Как у фейхоа, плоды у псидиумов образуются на молодом приросте, поэтому в формировании кроны растение не нуждается. Следует подрезать лишь самые длинные свисающие ветви, удаляя лишнюю корневую поросль.

Оба вида псидиума — растения субтропические. Потребности в их освещенности, влажности и составе почвы примерно такие же, как у фейхоа, они более неприхотливы и лучше приспособлены к микроклимату комнат. «Бич» многих комнатных растений — щитовка — псидиум не поражает; почти не наблюдаются у него и грибковые болезни; лишь иногда появляются тля и червец.

Выращивание псидиумов — очень благодарное занятие. Разводя их, трудно не добиться успеха — так щедро отзываются растения даже на малую к себе заботу! И, думается, в ближайшее время они займут одно из ведущих мест в ассортименте комнатных плодовых культур. Пока же «одомашнивание» перспективных экзотов только начинается. Их первые семена и саженцы переданы населению — энтузиасты-растениеводы города Свердловска начали выращивать дома южноамериканские псидиумы...

У сотрудников оранжерей Ботанического сада УрО АН СССР есть на примете еще немало интересных видов южных плодовых растений. Их изучение еще продолжается. Но хочется верить, что со временем они покинут гостеприимные стены оранжерей и попадут в наши дома.

Чем ближе знакомимся с разнообразием растений, постигая все новые и новые их особенности, тем... бескорыстнее становятся твои интересы. Конкретное желание получить черенок или семя приглянувшегося экзота, добиться, чтобы рос и плодоносил он в комнате, постепенно дополняется другой потребностью — самому подсмотреть или понять хотя бы маленькую тайну из жизни растения, проникнуться мыслью о неповторимости каждой формы жизни, оценить ее удивительную приспособленность и трогательную беззащитность...

На фото: плоды псидиума; цветок псидиума; виноград сорта «Франкенталь»; фейхоа.





